ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

6 '88

И. ЛУБЕННИКОВ. Москва.
Среднерусский пейзаж.

См. нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

6 (397) '88

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

XIX Всесоюзная партийная конференция

НАУКА ДЕМОКРАТИИ

Кандидаты философских наук Г. А. Багатурия, С. Е. Гречихо и В. Н. Кузнецов, чьи размышления мы публикуем,— составители издания «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О демократии», которое каждый из нас будет сейчас читать, изучать, примерять к сегодняшнему дню нашего общества. Выход книги приурочен к XIX Всесоюзной партконференции.

БАГАТУРИЯ. Мы работали над этой книгой не только потому, что вопросы демократии сейчас сверхактуальны. Для классиков марксизма-ленинизма они всегда были исключительно важны. Это прослеживается от самых первых высказываний молодого Маркса до последних размышлений Ленина. Чисто внешне можно судить об этом хотя бы по тому, что в процессе работы мы отобрали поначалу более пятидесяти печатных листов высказываний классиков о демократии. Это многие сотни фрагментов из их произведений и писем. Мы попытались отобрать наиболее важное, как-то организовать этот материал. В книге 27 разделов, в которых представлено более ста тем, так или иначе сводящихся к общему знаменателю — демократия.

ГРЕЧИХО. Особое внимание обращали на те вопросы, которые представляют наибольший интерес в современных условиях: самоуправление народа, демократические принципы функционирования государственного аппарата, предотвращение отчуждения государства от общества, борьба против бюрократизации, выборность и гласность, рост социальной активности масс, развитие внутрипартийной демократии и другие.

На снимке: строки ленинской рукописи — «Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где последовательная демократия, с одной стороны *превращается* в социализм, а с другой стороны, где она *требует* социализма». («Государство и революция»).

КУЗНЕЦОВ. В произведениях Маркса, Энгельса и Ленина встречается несколько определений демократии. Самое общее из них — дословный перевод с греческого: «власть народа». Много раз они определяют демократию как господство большинства, подчинение меньшинства большинству.

БАГАТУРИЯ. По мысли Ленина, демократия **«включает в себя два следующие необходимые условия: во-первых, полную гласность и, во-вторых, выборность всех функций».**

ГРЕЧИХО. Тут, мне кажется, надо сделать уточнение: Ленин имеет в виду, говоря об этих признаках, прежде всего, внутрипартийную демократию...

БАГАТУРИЯ. Я думаю, что эти два момента характеризуют демократию и в общественной жизни. Кстати, когда Маркс, Энгельс и Ленин анализировали опыт Парижской Коммуны, они говорили о выборности и гласности как о важнейших необходимых элементах пролетарской демократии.

КУЗНЕЦОВ. Классики неоднократно подчеркивали, что демократия не тождественна анархии. Анархисты выступали за упразднение центральных органов управления, координации деятельности социальных институтов, различных частей общества как целостного организма. В противовес этому Маркс, Энгельс, Ленин всегда говорили о том, что функции управления были и будут присущи любому обществу, в том числе и построенному на коммунистических началах. С этой точки зрения в корне неверны, ненаучны какие-либо противопоставления демократии и дисциплины, самостоятельности и централизма. Вспомним работу Энгельса «Об авторитете», где он пишет, что в жизни общества много явлений, авторитарных по своей сути. В частности, революция, когда одна часть населения навязывает с помощью вооруженной силы свою волю другой части. А экономика? Развитие общественного производства немыслимо без единоначалия. Энгельс подчеркивает: **«Желать уничтожения авторитета в крупной промышленности значит желать уничтожения самой промышленности...».** Но это отнюдь не исключает эффективного использования демократических принципов в экономической области. Что мы видим сейчас? Расширяется практика выборности руководителей, повышается эффективность деятельности советов трудовых коллективов, все больше учитывается общественное мнение в принятии важных народнохозяйственных решений.

БАГАТУРИЯ. Представлять себе будущее общество как неуправляемое хаотическое образование было бы неверно. С точки зрения классиков, общество будущего будет централизованное, управляемое. Маркс даже говорил о **«будущей государственности коммунистического общества»,** то есть о тех функциях, которые аналогичны государственным, но уже не будут носить политического характера.

ГРЕЧИХО. Можно сказать, что демократия и авторитет — это две стороны, два начала, которые взаимно уравновешивают и обусловливают друг друга в процессе управления. Соотношение между ними меняется в зависимости от того, на какой ступени социального прогресса находится

общество. Гипертрофия любого из них оборачивается существенными издержками в развитии общества, тормозит его. Преувеличение возможностей демократии может привести к появлению элементов неуправляемости и распада общественных структур. Чрезмерное внимание к авторитету ведет к авторитарности, застою. Энгельс, например, предостерегал от излишнего, превышающего общественные потребности развития принципа авторитета. Отмечал, что **«социальная организация будущего будет допускать авторитет лишь в тех границах, которые с неизбежностью предписываются условиями производства...»**. Выдвигаемая сейчас задача демократизации советского общества состоит в том, чтобы найти оптимальные средства его управления, повысить роль демократических начал в этом управлении.

БАГАТУРИЯ. Демократия — не панацея от всех зол, это лишь форма управления в широком смысле слова, форма государственного строя. Отсюда мысль Ленина: **«Революционная целесообразность выше формального демократизма»**. Отсюда понимание того, что нельзя все проблемы решать только демократическими средствами, иногда более целесообразными могут оказаться и другие средства. Еще одно интересное высказывание Энгельса: **«Для научных работ не существует демократического форума»**. Большинством голосов в науке нельзя решать, что есть истина, а что — ложь. И все же в общественной жизни, при всех издержках, демократический способ решения спорных вопросов, видимо, наилучший из того, что пока выработало человечество.

ГРЕЧИХО. Ленин особо подчеркивал недопустимость формального подхода к вопросам демократии, ее абсолютизации в процессе социалистического строительства. **«...Мы будем расширять демократизм, отнюдь не делая из него фетиша...»**.

БАГАТУРИЯ. Обратимся теперь к историческому процессу. Очень важную мысль высказал Маркс в «Святом семействе»: **«Вместе с основательностью исторического действия будет... расти и объем массы, делом которой оно является»**. Ленин потом несколько раз повторял ее, придавал ей очень большое значение. Применим эту мысль к актуальной для нас сегодня ситуации. Попытка осуществить сегодня глубокую перестройку нашего общества — это действительно попытка свершить своего рода революцию и, по сути дела, продолжить то, что было начато в Октябре 1917 года. В этом смысле выражение «революционная перестройка» — не просто красивые слова. Такое преобразование возможно лишь с вовлечением в него максимально широких масс трудящихся, всего нашего народа. Его нельзя сделать «верхушечно». Но вот что обязательно надо учитывать. У Энгельса есть очень короткое и вместе с тем очень глубокое замечание о демократии: **«это понятие изменяется всякий раз с изменением понятия демос»**. Что такое «демос», то есть народ, в разные эпохи? Скажем, в Древней Греции — это свободные граждане. В первые годы Советской власти было введено временное ограничение демократии — эксплуататорские элементы не допускались к участию в выборах, ибо в это время под «народом» понимались в первую очередь рабочие и крестьяне. В современных условиях, когда реально сложилось общество нового типа, неправомерно было бы считать, что в понятие народа как субъекта управления обществом входят только рабочий класс и крестьянство. Очевидно, что в век научно-технической революции люди умственного труда играют никак не меньшую роль в функционировании и развитии общества, чем люди, занятые преимущественно физическим трудом. Между прочим, у Энгельса есть понятие: «пролетарии умственного труда», а Маркс говорил о «совокупном рабочем» или «совокупном работнике». В связи с проблемами современной демократии эти их идеи очень актуальны.

ГРЕЧИХО. Диктатура пролетариата, пролетарская демократия, по убеждению классиков, должна была знаменовать рождение принципиально новой демократии. Государство первой фазы коммунистического общества, социалистическая демократия — качественно новый этап в развитии подлинного народовластия. И, наконец, коммунистическое самоуправление — своего рода не политическая, полная, абсолютная демократия — будет тождественно отмиранию государства, а следовательно, и демократии.

КУЗНЕЦОВ. Особый интерес и практическое значение представляют для нас положения Ленина о привлечении масс к управлению делами общества, о связанных с этим трудностях и противоречиях. Ленин обращает внимание на то, что на первоначальной стадии дискуссионная, митинговая сторона преобладает над деловой. Что такое положение вполне естественно как пробуждение активности масс, их переход к сознательной дисциплине, как форма подготовки к самостоятельному историческому творчеству. В этой связи он пишет, что надо не мешать трудящимся в их обсуждениях, дискуссиях, а помогать им приходить к правильному решению. **«Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из берегов, митинговый демократизм трудящихся масс с *железной* дисциплиной во время труда, с *беспрекословным повиновением* — воле одного лица, советского руководителя во время труда!»**.

ГРЕЧИХО. Мы сейчас много говорим о том, что ленинские принципы демократии были извращены, что определенные ленинские заветы не были выполнены, что мы не дотянули до того уровня в развитии народовластия, который должен быть присущ социализму. Но мы забываем, что были ситуации, когда эта демократия, может быть, была невозможной. Существовали условия, при которых управление нашим обществом не могло осуществляться чисто демократическим путем. Низкий уровень производительных сил, культуры населения, отсутствие устойчивых навыков демократической жизни, внешнее давление и многое другое — все это не позволило продвинуться по пути демократии так, как нам хотелось и как намечалось. То есть нередко общество оказывалось просто не готовым воспринять в полном объеме разработанную ранее модель демократии.

БАГАТУРИЯ. Практика вносила свои коррективы в прежние представления. До революции Ленин вслед за Марксом и Энгельсом говорил о том, что все должностные лица должны выбираться. После революции эта тема как-то приглушается, сходит на нет. В конце концов Парижская Коммуна существовала несколько недель и в одном городе. В условиях же России речь шла не только о Петрограде или Москве... По всей стране через санкцию высшего эшелона власти шло массовое назначение, как бы мы сейчас сказали, «номенклатурных работников». Это прямо противоречило заявлениям, которые очень активно делались до Октября. И полностью списать это на экстремальные условия гражданской войны, интервенции или первые трудные годы борьбы за укрепление государства, может быть, и нельзя.

ГРЕЧИХО. В чем же способы развития демократии? Мы не можем просто произвольно провозгласить какие-то демократические принципы и быстро начать всех учить демократии, вовлекать в процесс демократизации. Видимо, надо создать условия для развития демократических тенденций. Важное значение здесь имеет борьба с антиподами демократии.

КУЗНЕЦОВ. В качестве таких антиподов можно назвать, например, бюрократизм и культ личности. Классики указывали, что даже в будущем обществе существует опасность отчуждения государства, **«превращения государства и органов государства из слуг общества в господ над обществом...»**. Поэтому, считали они, в ходе строительства социализма и коммунизма необходимо принять ряд мер для предотвращения этого. Меры эти они определяли, анализируя опыт Парижской Коммуны. Главные из них — выборность, ответственность и сменяемость чиновников на всех уровнях, сведение оплаты должностных лиц к среднему заработку квалифицированного рабочего и ликвидация всех должностных привилегий.

БАГАТУРИЯ. Положение об оплате должностных лиц исходя из средней зарплаты квалифицированного рабочего и Маркс, и Энгельс, и Ленин рассматривали как положительное достижение Парижской Коммуны. Однако и в этом ее опыт, мне кажется, нельзя абсолютизировать. Тогда это была попытка устранить гигантские диспропорции капиталистического общества. С точки зрения марксистской теории решение в данном случае должно быть несколько иным. Должен последовательно проводиться принцип распределения по труду. Другое дело — не должно быть необоснованных привилегий у должностных лиц всех рангов.

КУЗНЕЦОВ. Нужно, конечно, понимать, что осуществление требований выборности, ответственности, сменяемости, оплаты не является абсолютно достаточным для того, чтобы поставить заслон бюрократизации. Однако без них сделать это невозможно. Об этом свидетельствует, например, исторический опыт развития нашего государства. Зададим себе вопрос: столь же легко было бы Сталину строить и укреплять режим личной власти с учетом долговременной исторической перспективы, если бы расстановка кадров определялась не его произволом, а уставными принципами, в том числе выборности, ответственности и сменяемости?

БАГАТУРИЯ. Любопытный факт: у Маркса есть характеристика культа личности как суеверного преклонения перед авторитетами, и аналогично он характеризует бюрократическую систему как слепое подчинение вышестоящим авторитетам, то есть суеверное преклонение перед авторитетом вышестоящей власти. За этим стоит внутренняя связь, глубокое родство культа личности и бюрократии.

ГРЕЧИХО. Критикуя бюрократизм, классики марксизма-ленинизма отмечали, что он наносит вред всему обществу, иллюзорно представляя общие потребности, подменяя общественные интересы личными интересами чиновников. Собственное существование, собственное благополучие становится для должностных лиц самоцелью. Мир канцелярии представляется им действительным, а действительность — иллюзией. Внешний мир расценивается ими не сам по себе, а исключительно утилитарно, применительно к собственным потребностям, как поле собственной деятельности. Рассматривая проблемы борьбы с бюрократизмом, Ленин неоднократно подчеркивал, что его искоренение — трудный и длительный процесс. **«Если перед вами выходят и говорят — «покончим с бюрократизмом», то это есть демагогия. Это чепуха. С бюрократизмом мы будем бороться долгие годы, и, кто думает иначе, тот шарлатанствует и демагогствует, потому что для того, чтобы побороть бюрократизм, нужны сотни мер, нужна поголовная грамотность, поголовная культурность, поголовное участие в Рабоче-Крестьянской инспекции».** И еще: бюрократизм, как пишет Ленин, **«можно лишь *лечить*. Хирургия в *этом* случае абсурд, *невозможность;* только *медленное лечение* — все остальное шарлатанство или наивность».**

БАГАТУРИЯ. Культ личности — фактически неотъемлемый элемент всех деспотических, тиранических, абсолютистских режимов. Об этом нарушении правил демократической жизни классики высказывались со всей определенностью. Энгельс писал, что **«ни одно лицо, занимающее высокое положение, не вправе претендовать на более нежное обращение с ним, чем другие люди».** А вот слова Маркса, писавшего о себе и об Энгельсе: **«Мы оба не дадим и ломаного гроша за популярность. Вот, например, доказательство: из отвращения ко всякому культу личности я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран,— я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал».**

КУЗНЕЦОВ. Крайне враждебно к культу личности относился Ленин. Он считал, что идеализация одного человека, абсолютизация его заслуг противоречат духу и букве марксизма, основным принципам революционного движения. Искаженные представления о политических деятелях, неадекватное изображение их роли в жизни общества, по убеждению Ленина, органически присущи обществу антагонистическому. Ленин отмечал возможность появления элементов культа личности и в пролетарском государстве. В сентябре 1918 года в беседе с руководящими работниками он высказывает такую мысль: **«С большим неудовольствием я замечаю, что мою личность начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю».** По свидетельству Бонч-Бруевича, Ленин говорил: **«Мне тяжело читать газеты... Куда ни глянешь, везде пишут обо мне. Я считаю крайне вредным это совершенно немарксистское выпячивание личности... Это не хорошо — это совершенно не допустимо и ни к чему не нужно... А эти портреты? Смотрите, везде и всюду... Да от них деваться некуда!.. Зачем все это?..»**

ГРЕЧИХО. Ленин болезненно воспринимал наделение его какими-то сверхчеловеческими качествами: **«Это что такое? Как же вы могли допустить?.. Смотрите,—** говорил он Бонч-Бруевичу,— **что пишут в газетах?.. Читать стыдно. Пишут обо мне, что я такой, сякой, все преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком, а вот здесь какая-то мистика... Коллективно хотят, требуют, желают, чтобы я был здоров... Так, чего доброго, пожалуй, доберутся до молебнов за мое здоровье... Ведь это ужасно!.. И откуда это? Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг опять возвеличивание личности! Это никуда не годится. Я такой же, как и все...».**

БАГАТУРИЯ. Если мы хотим лучше узнать, что такое демократия, то нам, как ни парадоксально, необходимо изучать и ее антиподы. В частности, нуждается в основательной проработке сумма вопросов, связанных с экономическими, социальными, политическими корнями бюрократизма, отчуждения государства от общества. Есть такая ранняя работа Маркса «Экономическо-философские рукописи», написанная в 1844 году, когда ему было 26 лет. Это сложное, абстрактное философское произведение. В нем Маркс впервые развивает свою концепцию отчуждения, выделяет основные его типы. Первый вид — отчуждение продукта, который создает человек. Второй — отчуждение самой деятельности, благодаря которой продукт создается. Есть еще и третий вид, имеющий две взаимосвязанные стороны. Люди отчуждаются друг от друга, общество как бы атомизируется, каждый человек замыкается в себе самом. Обратная сторона атомизации — общая, родовая человеческая сущность (воплощенная, например, в государстве) — отделяется от людей, выходит из-под их контроля и начинает противостоять им, господствовать над ними. Это очень абстрактная философская концепция. Но, по сути дела, она лежит в основе того, что Маркс увидел на примере бонапартизма во Франции. Социальная база бонапартизма — атомизация мелкобуржуазной среды. Атомизация общества — это та почва, на которой вырастает и бюрократизм.

ГРЕЧИХО. Иллюстрация Вашей мысли: у Энгельса есть высказывание о мелкобуржуазной сущности бюрократизма, возникающего, как он пишет, на почве изолированности мелкобуржуазных индивидов в обществе. Ленин, говоря о социальных корнях бюрократизма в пролетарском государстве, называет такие явления, как **«раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие** *оборота* **между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними».** То есть указывает в конечном счете на разобщенность, обособленность людей.

КУЗНЕЦОВ. Не случайно сейчас многие ставят вопрос о том, что депутаты должны избираться из кандидатов, живущих в данном районе, знающих его проблемы, всю сложность повседневной жизни. Одно дело, когда мы в своем коллективе выдвигаем кого-то депутатом. Совсем иное — когда голосуют за него избиратели, почти ничего о нем не знающие, так же, впрочем, как и он о них...

БАГАТУРИЯ. Однако существует не просто проблема отчуждения государства от общества. Существует и другая, более конкретная опасность: отчуждение исполнительной власти от законодательной. Вы можете выбрать парламент, и на этом уровне все вроде бы происходит демократически. А потом начинается назначение сверху всего конкретного аппарата, который вам уже неподотчетен. Он выходит из-под контроля избирателей. Вот эта проблема отчуждения исполнительной власти — чиновников, выполняющих конкретные функции управления,— чрезвычайно важна. Я сам до недавнего времени по-настоящему не мог понять, почему Ленин так ратовал за то, чтобы в Советах одни и те же люди принимали решения и исполняли их. Он говорил, что Советы — это не парламентаризм, это не болтающее, а работающее учреждение, которое не только принимает решения, но и проводит их в жизнь. Только тогда нет отрыва исполнительной власти от законодательной. Один из недостатков наших сегодняшних Советов заключается в том, что депутаты всех уровней недостаточно контролируют исполнительные органы. Мы знаем это на собственной практике. Некоторые наши коллеги являются депутатами районного Совета. Из их отчетов видно: реальная власть принадлежит скорее исполкому, чем Советам. Таким образом, лозунг «Вся власть Советам!» вновь становится актуальным. Ленин много размышлял о том, как установить реальный контроль масс над органами управления, перебирая самые разнообразные варианты, некоторые из них кажутся почти фантастическими.

ГРЕЧИХО. К сожалению, в нашем обществе в течение долгого времени важнейшие вопросы общегосударственного значения решались авторитарно. Одно из последствий — сформировалось поколение людей, для которых пассивное отношение к управлению стало вполне привычным. Эта антидемократическая тенденция поощрялась сверху, фактически узаконивалась, хотя формально провозглашалось обратное, создавалась видимость участия масс в государственной жизни.

КУЗНЕЦОВ. Человеческая жизнь вообще такова, что люди часто совершают поступки раньше, чем во всей полноте предвидят их последствия. Очень часто развитие событий

смеется над людьми, опровергая их прогнозы. Не потому ли удобнее переложить принятие решений на кого-нибудь другого, кто может взять ответственность на себя? Я надеюсь, что это не является неотъемлемым свойством человеческой натуры. Я думаю, что это — наследие многих веков общественного развития, когда над людьми господствовали слепые природные и общественные силы и люди не понимали, почему те или иные явления, события происходят именно так, а не иначе. Психологические основы культа личности не только в том, что претендент в диктаторы более тщеславен, чем другие. Сейчас многие люди, жившие при сталинском режиме, говорят, что просто не задумывались, что происходило вокруг. Они считали: «Там, наверху, виднее. Раз наверху говорят, что классовая борьба обостряется, значит, им виднее... Говорят, что мы должны следить за соседями, за всеми, кто вокруг нас, потому что враги народа в массовом масштабе проникли во все поры нашего общества, значит, так и есть, сверху виднее...». Люди перекладывали ответственность за свои поступки, за свою политическую позицию, а в конечном счете и нравственную позицию на тех, кто ими правил.

БАГАТУРИЯ. У Маркса и Энгельса есть важная мысль, на которую мы долгое время не обращали внимания. Они говорили: в будущем обществе должно быть уничтожено разделение труда. Потом уточнили: старое разделение труда. В конечном счете мысль приобрела такую форму: разделение труда по профессиям всегда было и будет, но человек не должен быть пожизненно прикован к одной и той же профессии. В том числе не должно быть пожизненно управляющих и пожизненно управляемых. В «Критике Готской программы» Маркс говорит о том, что разделение труда будет преодолено только на высшей фазе коммунистического общества. То есть на первой фазе идет процесс преодоления этого отчуждения. Поэтому призывы к тому, чтобы все принимали участие в управлении,— это не чисто политический лозунг, за этим стоит очень глубокая закономерность становления и развития коммунистической формации. Кстати, разделение на управляющих и управляемых — это одна из сторон разделения общества на классы. Разделение людей по их отношению к собственности у нас, по крайней мере формально, уже преодолено. Теперь стоит и вот эта важная проблема — не только довести до конца процесс обобществления на деле, но и преодолеть старое разделение труда.

КУЗНЕЦОВ. Каждый должен чувствовать себя ответственным за состояние дел в обществе. Демократия обеспечивается не только разработкой набора требований к официальным органам. Перед каждым человеком встает необходимость воспитания самого себя в демократическом духе. Он, безусловно, личность самобытная, неповторимая никогда больше в истории. Он должен требовать, чтобы его уважало и общество, и государство. Но он должен заслужить это уважение. Заслужить своей активной, ответственной позицией.

БАГАТУРИЯ. Один из серьезнейших сейчас вопросов: где гарантии того, что навыки демократии, которыми мы постепенно все более и более овладеваем, не исчезнут в будущем? Главнейшая гарантия необратимости процесса демократизации в нашем обществе — передача всей реальной власти массам. Вот тогда демократизация станет действительно необратимой.

КУЗНЕЦОВ. У Маркса есть очень интересное высказывание о необходимости ограничения произвола власть имущих: **«Я вообще не думаю, что личности должны служить гарантиями против законов; я, наоборот, думаю, что законы должны служить гарантиями против личностей».** В демократическом обществе должна быть ясно определенная, хорошо известная членам всего общества система законодательства, которая регулировала бы отношения не только между людьми, но и между людьми и государственными органами. Демократия предполагает, что при нарушении интересов того или иного человека или органа решать, кто прав, должен не вышестоящий начальник, а закон. Закон, сформулированный так, чтобы нельзя было трактовать его каждый раз в том духе, в каком это выгодно применительно к данным, сиюминутным интересам.

БАГАТУРИЯ. Важнейшее место в произведениях классиков марксизма-ленинизма занимают вопросы внутрипартийной демократии. Коммунистическая партия развивается вместе с обществом, в котором она действует. Формы и методы ее работы, организационной жизни изменяются вместе с изменением обстоятельств. Наследие Маркса, Энгельса, Ленина дает богатый, разнообразный материал по этим вопросам, который для КПСС сейчас особенно ценен.

ГРЕЧИХО. Они считали вполне нормальным явлением для демократически построенной партии наличие в ней различных мнений, дискуссий, обсуждений. **«По-видимому, *всякая* рабочая партия большой страны может развиваться только во внутренней борьбе в полном соответствии с законами диалектического развития вообще»,**— писал Энгельс. При этом борьба мнений не должна нарушать единства совместных действий. Необходима культура отношений между членами партии, придерживающимися различных взглядов. **«Свобода обсуждений, единство действия,— вот чего мы должны добиться»,**— подчеркивал Ленин.

БАГАТУРИЯ. Когда в начале 90-х годов правление германской социал-демократической партии попыталось подчинить своей цензуре партийную газету, Энгельс тут же откликнулся: мы всю жизнь боролись за свободу слова, за свободу критики, а теперь, в своих собственных рядах, мы пытаемся подавить и критику, и свободу слова. Где же логика?

КУЗНЕЦОВ. Маркс и Энгельс решительно критиковали концепцию партии-секты своего современника Фердинанда Лассаля. В их работах можно встретить замечания о том, что Лассаль ведет себя как рабочий диктатор, пытается играть роль мессии по отношению к рабочему движению, хочет озарить рабочее движение знанием высшей истины. Совсем иное — у Ленина. Он подчеркивал, что находить ответы на вопросы, которые ставит перед партией практика строительства нового общества, важно в обстановке многообразия взглядов и мнений. Настаивал на том, чтобы ценить членов партии, имеющих самостоятельную точку зрения, относящихся творчески, осмысленно к общепартийному делу. **«...Надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей».**

ГРЕЧИХО. Повышенное внимание классики уделяли вопросам прямой, непосредственной демократии. Она — жизненно необходима партии рабочего класса. Ленин писал: **«Для того, чтобы решение вопроса было действительно демократическое, недостаточно собрать выборных представителей организации. Необходимо, чтобы *все* члены организации, выбирая представителей, в то же время *самостоятельно и каждый за себя* высказались по спорному вопросу, интересующему всю организацию. Демократически организованные партии и союзы не могут принципиально отказываться от такого опроса всех без исключения членов — по крайней мере, в важнейших случаях и особенно тогда, когда речь идет о таком политическом действии, в котором *масса* выступает самостоятельно... Почему в этих случаях признается недостаточность посылки представителей? Почему требуется опрос *всех* членов партии или так называемый «референдум»? Именно потому, что для успеха массовых действий необходимо сознательное и добровольное участие каждого отдельного рабочего... Все политические вопросы невозможно решать опросом всех членов партии; это была бы вечная, утомительная, бесплодная голосовка. Но важнейшие вопросы и притом такие, которые прямо связаны с определенным действием *самих масс*, необходимо решать, во имя демократизма, не только посылкой представителей, но и опросом всех членов партии».**

БАГАТУРИЯ. Ленин реалистично относился к первому опыту строительства государства нового типа, новой демократии. **«Только ряд стран отделает и доделает советский строй и всяческие формы пролетарской диктатуры. У нас недоделанного в этой области еще очень и очень много. Непростительно было бы не видеть этого. Доделывать, переделывать, начинать с начала придется нам еще не раз».**

Когда вначале мы отметили, что тема демократии проходит от ранних работ Маркса до последних работ Ленина,— это эмпирически точный факт. Первые теоретические исследования Маркса, где он фактически переворачивает идеализм в материализм, очень тесно связаны с проблемой демократии, борьбы против бюрократизма. Последние же работы Ленина — его мучительные раздумья, пока он еще мог думать и работать, о том, как предотвратить развитие антидемократических тенденций, уже им наблюдаемых... И вот вся эта масса интереснейших материалов за период в 80 лет — с 1842 и до начала 1923 года — прошла через наши руки. Разумеется, их можно продуктивно использовать только с учетом тех исторических условий, в которых они вырабатывались. Этот гигантский интеллектуальный потенциал, унаследованный человечеством, остро необходим сейчас для решения актуальнейших проблем обновления нашего общества.

Комсомолу семьдесят лет. Парадоксальное словосочетание. Столь солидный возраст никак не вяжется с образами молодых парней и девчат, запечатленными в документах нашей эпохи. Но это так.

Путь длиной в семьдесят лет был сложным, горестным и счастливым одновременно. И те, кто стоял в начале пути, кто остался живым, пройдя через все беды, выпавшие на долю нашей страны, сейчас пишут в анкетах — ветеран труда, ветеран войны, ветеран комсомола, ветеран партии. Ветеран. Только его глазами мы можем увидеть то время таким, каким оно было. О периоде становления комсомола рассказывает Григорий Львович Сырников, возглавлявший в 20-е годы одну из первых сельских ячеек. В 1930 году он был избран секретарем Белозерского райкома ВЛКСМ, вступил в партию. Участник Великой Отечественной войны Г. Л. Сырников сейчас является заместителем председателя Курганского областного Совета ветеранов.

Григорий СЫРНИКОВ

ЯЧЕЙКА

1. Собрание

У высокого крыльца нардома секретарь комсомольской ячейки Гришка Левтеев, выжимая из «тальянки» всю душу, наяривает «Комаринскую». Его брат Митька, по прозвищу Тюмень, трамбует снег тяжелыми резиновыми галошами, надетыми на пимы для форсу, и громко выводит:

Рита-турихя коров пасла.
Увидала в табуне козла...

Подошел учитель Чистяков Валентин Данилович. Не вынимая рук из карманов отороченного серой мерлушкой черного полушубка, молча слушает ребят. А потом проситель-но:

— Комсомольцы и приглашенный актив бедноты, заходите в нардом, пора начать комсомольское открытое собрание.

Все гурьбой полезли в избу.

В нардоме тепло и светло. На видном месте у стены сели приглашенные ветераны гражданской войны Евстаха Лесников, Нестор Федотович, Насонов Иван. Они пришли на собрание, подчеркнув этим свое уважение к созданной на селе комсомольской ячейке.

Костя сел рядом с Чистяковым за столом президиума и ведет регистрацию прибывших.

Палька, глядя на них, весело комментирует:

— Валентин у нас, что те трефовый король, а Костя бубенный.

Чистяков откликается:

— Пелагея, мы еще жидковатые валеты, а ты сразу — короли!

Когда смех в избе стих, он начал говорить о затруднениях с хлебом в стране. О необходимости перевода отсталого сельского хозяйства единоличного крестьянства на социалистические рельсы, о коллективизации.

Для всех нас это казалось чем-то неведомым, недоступным.

— А как будем объединять в коллективы, добровольно или?..— спросил Костя и замялся, не находя слов: «А как еще может быть?»

Иван Насонов пробасил:

— Договаривай, чего испугался. Нажиму боишься? А в этом деле без нажиму не обойтись!

— Я думаю, и без принуждения, крестьянин сам поймет выгоду коллективного труда,— вставил Чистяков.— Ленин говорил: «Чтобы крестьянин на собственном опыте убедился в преимуществе коллективной формы, без принуждения».

Но Евстаха Лесников поддержал своего друга:

— А где у нас этот опыт? Пока мы его иметь будем, много воды утечет. А в районе о сплошной коллективизации поговаривают.

— Вон от соседних сел к коммуне Ленина лучшие пашни отрезали, чтобы мужик в коммуну шел,— продолжает басить Иван.— И нам надо так же всем селом в коммуну и больше делать, чем языком чесать. Слово-то хорошо, но узда надежнее.

Увидев, что тянет руку первый бездельник и выпивоха Ванька Шин, Палька ехидно подначивает его:

— Что, Шин, видать, тоже в коммуну лыжи навострил?

— Я, конечно, за коммунию, там, говорят, обеды общие, за так дают. И одежда бесплатная.

Серьезный Лесников встал, взмахнул рукой, мол, тихо, и говорит:

— Вот я всю гражданскую штыком и шашкой торил дорогу к социализму. Казалось, все просто. А до дела дошло — задумался. По-честному скажу, что не знаю, Ваньку ли слушать и собирать мужиков силком в коммуну, или Чистякова, чтобы все было по-добровольному. Наших-то чалдонов нелегко оторвать от дедовской пуповины. Это же надо понять.

— А что тут понимать,— отвечает Нестор Федотович.

— Вон Насонов об узде говорит. А где узда, там кнут.

— Дай Ваньке волю, он захочет боле! — крикнул кто-то из задних рядов под одобрительный смех ячейки.

— На словах-то мы все за демократию, а как до дела дойдет, за кнут и беремся,— режет свое Насонов.

Долго шел спор. Надо было все взвесить, обдумать. Ведь шли неториной дорожкой в новую, еще никем не ведомую жизнь.

За полночь единогласно приняли предложение докладчика:

1. Одобрить линию партии на коллективизацию.
2. Всем комсомольцам вступить в колхоз «Бугорки» и заразить молодым энтузиазмом всех членов артели.
3. Рекомендовать в правление колхоза: секретаря ячейки Гришку Левтеева и его зама по ячейке и сельсовету Саньку Камчугова.

2. Как Гриша Левтеев в районный актив безбожников попал.

Шел 1929 год. В Пухово для усиления антирелигиозной работы прибыл заведующий агитационно-пропагандистским отделом райкома ВКП(б) товарищ Тарасов.

Вызвал секретаря комсомольской ячейки Левтеева и говорит:

— Ну, «комсомольский бог», пошли в церковь. Как-то надо решать ваш спор с церковниками.

— Да, действительно дело затянулось. Молодежь требует церковь под клуб, а богомольцы нудят: «Не мешайте нам молиться»,— пояснил обстановку Григорий.

Когда подошли к церкви, то услышали, как на церковной колокольне дежурившие по противопожарному делу комсомольцы Палька и Лиза под балалайку громко напевали частушки:

Поп наш Геннадий объелся оладий,
Не слазит с палатей, объединительно!
Объединительно! Объединительно!

— Это что еще за концерт? Так-то вы ведете антирелигиозную работу? Безобразие! За такое вас надо строго наказывать,— возмутился Тарасов.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Санька Качугов и Колька Стеников ухитрились отца Геннадия напоить допьяна. Завалили его в двуколку-таратайку, как куль, и поехали по селу. Санька правит лошадью, а Колька сидит на попе и, дергая его за длинные волосы, голосит:

Поп наш благочинный
Пропил тулуп овчинный
И ножик перочинный.

Возвысив голос до самой высокой ноты, хором выводят:

Непростительно!
Непростительно!
Опьянительно!

С таким-то концертом подкатили они совсем не вовремя к церковной ограде. Тарасов от возмущения зашелся:

— Гнать! Гнать их из комсомола вместе с секретарем ячейки!

Григорий, столкнув Саньку, помог попу встать на ноги.

Оказавшись на земле, отец Геннадий, добродушно улыбаясь, пробормотал:

— Силком споили, озорники, а теперь что? Я поп-расстрига.

И пошел шаткой походкой в церковную сторожку отсыпаться. А Тарасов, не слушая Гришку, бегом в сельсовет. С ходу вызвал по телефону секретаря райкома партии товарища Семенова. Сгустил, как водится, краски об извращении антирелигиозной работы, убедил его немедленно рассмотреть этот вопрос на бюро райкома партии.

Так нежданно-негаданно в канун чистки партии на Гришу свалилась беда: нести ответственность «за извращение линии партии по антирелигиозной пропаганде». А что сделаешь, коли все факты налицо. Вечером собрался в Совете актив.

— Да что это за напасть такая, было бы за что, а тут в «чужом пиру похмелье»,— возмутился секретарь Совета Костя и взялся помочь составить план оживления безбожной работы по-настоящему, без перегибов.

— Я с учительницей Наташей буду готовить диспут с попом на тему «Есть ли бог?» и что религия есть опиум народа.

И записал это первым пунктом плана. А добросердечная Улита Максимова вносит еще предложение:

— Заодно проведи и спор с табачниками и пьянчугами о вредности табака и водки.

Костя удивился:

— Ты же сама куришь и водкой не брезгуешь?

— Вот потому-то и надо спор учинить, худо это или добро? Оно, коли постоянно будем о том спорить, может, и до нашего ума дойдет. А так-то разве бросишь эту отраву? — чистосердечно призналась Улита.

— А мы давайте в пустом здании белозерского магазина клуб безбожников организуем,— внесла предложение Шура Меньшикова.

Ее поддержали главные виновницы — Палька и Лиза.

— Мы сегодня же там все вымоем и кое-чем обставим.

Нестор Федотович принес в ячейку газету «Красный Курган»:

— Вот читайте, перепишите на большой лист или фанеру и на стенку «Клуба безбожников» повесьте.

Шура берет газету и читает:

«Придет зима холодная,
Вздохнем мы от забот,
Наше времечко свободное
Пусть газетушка займет.

То дождливо, то нет дождичка.
Есть сомнение — есть ли бог?
Без газетушки «Безбожника»
Как сапожник без сапог».
(Дядя Гвоздь.)

На бюро райкома Гришка ехал не с пустыми руками, а с хорошо продуманным планом антирелигиозной работы на селе.

На заседании бюро после информации Григория о «великом переломе всей антирелигиозной работы в с. Усть-Суерском» Тарасов вел себя не так уж агрессивно и даже проявил снисходительность, сказав:

— В проекте мы записали Григорию Левтееву строгий выговор в личное дело, но, учитывая резкий перелом в их работе к лучшему, я вношу предложение оставить выговор без занесения.

Так с выговором и целым возом антирелигиозной наглядной агитации, сидя на беседке ходка, секретарь Усть-Суерской (Пуховской) ячейки комсомола уехал домой ставить на научную основу борьбу с религией. И вез он в ходке весь районный запас агитации, который с охотой уступил ему Миша Полуектов, зачислив Гришку в актив районного совета безбожников.

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ, ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Фантастический роман

Рисунки И. Мельникова

Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей.
Трифилий, раскольник.

Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
Евангелие от Иоанна.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле,— сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело — рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определенных пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при

мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантасмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал — и считал совершенно справедливо,— что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем и только потом уже — обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно — столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и лишь много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки. «...у гностиков ДЕМИУРГ — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом». И тогда показалось мне, что «ОЗ» — это скорее всего аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощенные Злом,— так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что «ОЗ» — не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль-три», а это телефон «Скорой помощи»,— и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)

Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин — личность вполне историческая, астроном, доктор физматнаук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остается для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург — фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста — все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае — девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче,— никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).

Игорь К. Мытарин.

ДНЕВНИК. 10 июля (ночь на 11-е).

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я — своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были тако-

вы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово — они представления не имели.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» — всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы — земляне напустили на них блох.)

Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый — люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй — философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых прогнать с глаз долой куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брызоделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедяк», и Иван на весь город объявляет с упреком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трепа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра — уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи — не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор — считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)

Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остается лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может все, что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень..

Класс В. «Отшельники». Желающие слиться с природой. Руссо, Торо, все такое. «Жизнь в лесу». В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное, потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И, наконец, класс Г. Г — оно и есть Г. (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полуголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя,— что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.

Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованные страницы. На обложке цифры: ноль-три. А может быть, буквы — О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой...»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять — пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

"We must find a way... to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious—even with chemical stimulants if there is no better way" *

По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по существу, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «...если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (1—3).

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странно-

---

* «Мы обязаны изыскать способ... превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных — даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа».

ват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками,— и для каких же, интересно, целей разреза́ли фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? Зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы — то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира — почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь,— трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни. В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось,— не бывает на свете таких бурок! — а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоявшего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудреный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной черным шнурком.

— Какая тоска! — произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы.— Смотришь, и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле все осталось, как и прежде.

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человечек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголку вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.

— Зато как ВЫ изменились, Гончар! — откликнулся он, наконец.— Положительно вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто...

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды.

— Я говорю не об этом,— сказал он.— Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.

— Вы и не можете понять,— продолжал тот, что стоял у окна.— Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось... Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как

будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

— За семью печатями,— поправил серый человечек рассеянно.

— Да. Конечно. За семью печатями... Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные... Да они же пьяны!

— О, да, здесь это бывает,— произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей.— Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика — зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением — яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая, полуобморочная тишина.

— Это не каприз,— произнес тот, что стоял у окна.— Я и раньше ненавидел пьяных — всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли... Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно... Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

— Да им же страшно! — сказал серенький человек с укоризной.— Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас...

— Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом... Все это я уже от вас слышал: человек разумный — это не всегда разумный человек... хомо сапиенс — это возможность думать, но не всегда способность думать... и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую... Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто...

— Надеть,— произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.

— Что?

— Надо говорить «надеть пальто».

— А я как сказал?

— Вы сказали «одеть».

— А надо?

— А надо — «надеть».

— Не ощущаю разницы,— высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

— И тем не менее она существует.

— Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

— Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

— И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

— Здесь никто ничего не делает даром,— намекнул серый человечек с циничесой усмешкой.— Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорамусы.. Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

— Ну что ж. Никто не заставит его работать даром... Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела...

— Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

— Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело — сумеете ли вы ее выполнить!

— Даже так?

— Именно так.

— И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

— А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

Черно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.

— Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила звенящая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощенный серенький человек пробормотал:

— Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

— Что еще за вздор,— с отвращением произнес стоявший у окна.— При чем здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога,— у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятьем бессмертия, причем в сочетании с проклятьем безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»

Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишенного женского ухода и пригляда,— в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он, как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеюще-

го. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер — в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный,— и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи...

Впрочем, как часто это случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка... или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд... или другая манера — бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон... но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию... Да разве в науке здесь дело,— что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, подселяют серенького страхагента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год... Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое в конце концов мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно...) Да ведь не станешь же спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители, они были так давно...» — и тут же перевел разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем не знакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на Теренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали...

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он всегда отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент — это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе, того и гляди, перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу» и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно...

Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.

Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло», пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никого не удивляет тот ернический тон, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала...

3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метра. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация».) Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.

Кроме этого шипа, есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны — то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масленые глазки старцев, и даже их рдеющие плеши приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «джейвиси» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практические уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют...

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике — роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он разражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин...» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу... Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов...

Особенная пылища собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая коробка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на заду и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку... А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года, с двойкой по истории и с двумя тройками — по рисованию и физкультуре...

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на Теренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он...

ДНЕВНИК. 12 июля.

...Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра,— и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай.

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неописуемое количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен — кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники... На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице

довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел — остался сидеть, кто лежал — остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию»,— и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом — крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу — и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо...» — и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое — мелкую вермишель — в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь,— какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек — человек, пока он поступками своими не доказал обратного»,— и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит — прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль»,— и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец»,— но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае врачом.) Парни были как парни, девчонки — как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица,— никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники,— и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю — обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку...

И еще — непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился — на другой конец стойбища — и там сел у другого костра. А на его место явился новый — длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне — фляга, на ногах — эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно — это ихний предводитель. Нýси. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, фýнков, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)

Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:

— Побéги — дáсьта.

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это по русско-японски «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот — «дала побеги». Флора!)

Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать бетель, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался зеленый шум. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и, пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побéги — дáсьта».

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь — перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое гомозяг из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера — Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба — засадили на месяц клозеты мыть задаром на Тридцатке, на мясокомбинате, за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст»,— упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди и не судим будешь»,— почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное — лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.

Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя».— И спросил: — Откуда?»).

В разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволошенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят, и Мишка, и Г. А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой».

Вопрос: откуда? Ответ: Д. Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».

РУКОПИСЬ «ОЗ». (4)

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на Теренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

— Как там у вас сейчас насчет субстанции?

— Где это у нас? — осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

— Ну, в Ленинграде, в Москве...

— Да как везде,— сказал я, продолжая оставаться в том же настроении.— Семнадцать тридцать пять. А повезет — так десять с маленьким.

— Ну да, ну да...— промямлил Гриня неопределенно.— Ну, а если, скажем, она особая?

— «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уж не выпускают.

— Да нет, я не про эту «особую» тебя...— сказал Гриня нетерпеливо.— Я тебя спрашиваю: особая субстанция как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками... Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

— Да нет, это я так...— проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при этом присутствовал надежный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отноше-

ния, еще с начала шестидесятых, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня — побольше, я — поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

ГРИНЯ осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

АГАСФЕР ЛУКИЧ не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

ГРИНЯ предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

АГАСФЕР ЛУКИЧ суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

ГРИНЯ (с некоторой тревогой): «А это на кой хрен понадобилось?»

АГАСФЕР ЛУКИЧ (не переставая бегать пером): «А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова».

ГРИНЯ с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

Я не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

АГАСФЕР ЛУКИЧ, профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): «Как раз трешник. Вот потом и вычтешь...»

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Само собой, само собой. Тут у меня все учтено». (Достает из портфеля и кладет перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)

ГРИНЯ изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

АГАСФЕР ЛУКИЧ приятно улыбается.

Я не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

ГРИНЯ, дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Замечания? Дополнения?»

ГРИНЯ: «Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо... (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела...» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного... Тем более «особая».

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Понял вас. Разумно».

ГРИНЯ: «Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду...»

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «На девяносто девять лет».

ГРИНЯ: «Н-н-н... Ладно. Это еще туда-сюда... Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти... Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!»

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Момент!» (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)

ГРИНЯ, подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

Я только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей; я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне). «Ознакомься, Корнеич»,— говорит он озабоченно.

Я ознакомливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19... года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта. *Дата. Подпись.*

Я в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.

ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): «Религиозное... это... как его там... религиозное — это одно, не жалко... А субстанция — совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?»

АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): «Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич».

Я (как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): «С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!»

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладела мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклоняясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

— А не сгорит оно там к ядрене-же́не? — опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

— Не должно,— озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там, внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

— Давайте, давайте, мужики,— приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу.— Так ты обещаешь, что под орехом? — спрашивал он Агасфера Лукича.— Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые...

Агасфер же Лукич отвечал ему:

— Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае под платаном...

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по Теренкуру в кромешной тьме, разноображенной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были мне тогда непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда не делал особенной тайны из своих трансакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен — просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам, и даже не к эвфемизмам собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных,— имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений — ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.

Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранца. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственны-

ми правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него была сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета — и проиграл.

Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях — совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами, и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель... Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла... Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убавится. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь по крайней мере быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее — я предсказал, что их должно быть десять — пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттэрз». Гордость фрайера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним...

Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать — кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обзерватори бюллэтенз»,— что эффект «звездных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме,— вот тут я почувствовал себя на сковородке.

Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место... этакий логический скачочек... К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться... Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)

Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку — и будь, что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно — что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил... как бишь его... вот уж и фамилии не помню... А ведь вполне может быть, что он в своей работенке — детской работенке, зеленой — весьма справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать...

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обоср...ся». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему.

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да — да,

нет — нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем — его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление — он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он, тут же ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно, и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств,— он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать относительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем (10^{12}—10^{13} секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временны́х и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял — зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым,— зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться. А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты,— пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в месткоме на «семерку-жигули»... Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном...

ДНЕВНИК. 14 июля.

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня — ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходить в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю до утра. Фигушки. В два часа ночи приперся Михей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревет. Синтезаторы ревут. Народ ревет. Прожектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд.

Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студиозусы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!
Ага-него, ням-ням-ням-ням,
Первички ня-а-ам!
А ну-ка демо! А шервервумба!
А шервервумба, вумба-вумба,
цум-бай-квеле,
тольминдадо,
Цум-бай-квеле, цум-бай-ква...

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и все-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчет-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию «активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие в отличие от доброты всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г. А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истекшие двадцать веков? *(ПРИПИСКА 16 июля.* Г. А. сказал: потому что интуиция — в подкорке, а понятие — в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.)

После обеда Г. А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики...». В чем дело? Оказывается, он недоволен, как идут у меня по логике Санька-Ёжик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Пошел в библиотеку, поднял «Логику...» за последний год. Все-таки Г. А.— бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное — не знать, а понимать. Но ведь он-то вдобавок и ЗНАЕТ! Все знает! И бес, посрамлен бе, плакаси горько.

В «Молодежных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъемом описывается радость, испытанная городскими любителями синхрозонга, от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новые тексты... новая манера... совершенно новое сопровождение... «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачен хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был инициатором этих выходок — заезжие «дикобразы», местные фловеры или просто загулявшие студенты,— прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием «Ночной пандемониум». Никакого праздника синхрозонга на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырехтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесен значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержаны. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум — лишнее, хотя и печальное, доказательство ее правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Все было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г. А. Серафима Петровна подала пирог-плетенку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сем, а потом вдруг выяснилось, что разговор идет о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г. А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?)

Я считаю, что в наше время существуют три главных фактора, которые в сочетании делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен вариться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нем положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета, духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики в конце концов. Зарабатывать все это невыносимо скучно и тяжко, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, причем делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него — в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов разработка и исполнение преступного замысла — это в самом широком смысле слова игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно. Не спорю. Наше дело — устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей, то немудрено, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!

«Пересадить свою доброту в душу ребенка — это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г. А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается лишь тварь дрожащая — жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, нисколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему приведется уйти от возмездия). Что же получается? Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо еще не тот, кого следует судить и наказывать... Слава богу, хоть смертная казнь у нас упразднена!

РУКОПИСЬ «ОЗ» (5—9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную мехо-

вую шапку и, пригладив прическу ладонью, проговорил негромко:

— Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил ее на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам...») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приемную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперед, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приемной он бегло, но цепко огляделся, как бы прицениваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение свое умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать. Я сел на свое место и сказал:

— Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вьялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русый, и широкие плечи, и кровь с молоком, и глаза вполне стальные, а в то же время какая-то бледная немочь во всем: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность — его лозунг. Умеренность и аккуратность.

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь, кроме меня, в Приемной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства,— на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности когда шли цифры, поглядывая в шпаргалочку, оказавшуюся незаметно у него в ладони. И хотя не предпосылал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трех периодов стало ясно, что речь идет о «Необходимых организационных и кадровых мероприятиях для подготовки и проведения кампании по Страшному суду».

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут — восемнадцати секунд не хватило для ровного счета. Закончив, осторожно положил свою шпаргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смирно свел пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

— Надо понимать, Зверь из моря — это лично вы? — спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

— Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал — нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актера старой школы:

— «Зверь был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть...» Дракон, надо понимать,— это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

— Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уж скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало еще бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

— «...И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». У вас губа не дура, Колпаков.

— В некоторых переводах стоит: «сорок два года»,— чуть повысив голос, возразил Колпаков.

— И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

— Мне кажется, один случайный запуск... одно случайное неудачное попадание... Мне кажется, этого уже достаточно было бы...

— Во-первых, недостаточно! — загремел Демиург.— Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вообще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев... я уж не скажу — лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

— Прошу прощенья,— произнес он с напором,— но ведь у меня и намерения такого не было — конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз — на ваше усмотрение! И железная саранча Аваддона... и конные ангелы-умертвители... и звезда Полынь... Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий... Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор...

— Он не берет на себя ответственность,— грянул Демиург.— Да ведь это же главное, неужели не ясно — оптимальный выбор! Максимум выживания козлищ при минимуме агнцев!

— Позвольте же заметить! — не сдавался Колпаков.— Был бы хаос, а все остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса... Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

— Так уж и вне...— произнес Демиург саркастически.— Вон чего вокруг насочиняли... Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил как по писаному:

— Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное. Это про них сказано, как я понимаю.

— Ясно,— произнес Демиург.— Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков все еще сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

— Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошел, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой черный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с портфелем на изготовку и говорил как заведенный — ворковал, курлыкал, болботал:

— Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему... Сорок два года все-таки,— такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности... Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Ведь пришлось бы руку поднять на отечество свое, на все человечество! Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально... в рамках существующей действительности... не затрагивая никаких основ... Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вел Колпакова, обнимая его ниже талии и заглядывая ему в лицо снизу вверх, все ворковал, все болботал, все курлыкал. Я слышал, как они медленно спускают-

ся по лестнице, Колпаков, видимо, опомнясь, принялся что-то отвечать высоким обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приемную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было ее прочитать, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «II сзд». Я прошел в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Черная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращения. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъема на двенадцатый этаж и очень довольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

— Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил... Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним,— в грязь, но и сам уж перед вышестоящим — в пыль... А я ему — дачу в Песках...

Демиург произнес, не оборачиваясь:

— Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта.

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить, откуда, и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто — об истории древней. Агасфер Лукич знает из истории все. Есть у него один-два пробела (например, Центральная Америка, шестой век,— «тут я несколько поверхностен»...), но в остальном он совершенно осведомлен, захватывающе многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так все это было,— любит приговаривать он.— Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий сопляк, мальчишка, дрисливый гусенок. Какое предательство?! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и все. Он вообще был слабоумный, если хотите знать...

«Не мир принес я вам, но меч». Не говорилось этого. «Не мир принес я вам, но меч...ту о мире»,— это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причем так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это было бы просто бестактно...

Конечно же, Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал. Он же сам все это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног... Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов, и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Странный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собраться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть,— и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом невозможно это, оказывается,— проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неописуемо.

7. ...Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело — то ли бешеная кровь накручивала спирали в помраченном мозгу моем, то ли перекатывалось в лестничных пролетах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой захлопнул.

Весь трясясь, но уже в себе, я спустился на этаж ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело — в голову мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так бодро, с энергичным, напористым ширканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое — не то «Рассвет на Москве-реке», не то «Боже, царя храни». И я подумал злобно: это же надо, какой веселый, энергичный клиент у нас пошел, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстра-класса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!»...

Он увидел меня и остановился пролетом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и, по возможности, внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодежного клуба, не полоумный прожектер какой-нибудь, а человек солидный, личность со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить, отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными. Белесовато-бесцветная, квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолетно показались мне знакомыми,— где-то я видел этот приторный набор — то ли в рекламном ролике, то ли на плакате... Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко, по-белогвардейски, дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отсвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией, расхаживал в черной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки,

в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина, либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают.

— Ты зачем сюда приперся, скотина? — произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь, задним числом, я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил:

— Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

— Сука ты, дрянь поганая,— произнес я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

— Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный...

— Какой еще проект? — просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственным своим унижением в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул: «Однако же... Позвольте...» — и тут же продолжал:

— Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев... учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства... На новейшем уровне культуры и технологии... Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства... Право же... мне немножко дышать... неудобно... Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нутциге юде»...

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно, зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

— Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею... или Галилею Ледовитую... Район, давно уже требующий решительного освоения... и никому не будут мозолить глаза... Третья мировая уже идет... сионизм против всего мира...

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал свое:

— Язву смешанных браков — каленым железом... Поздно будет... Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролет. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал — от боли в руке, от тоски, от безнадежности.

Он стоял на площадке пролетом ниже, расхлюстанный, весь в черных пятнах, судорожно раскорячив

руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу вверх и повторял, не находя слов:

— А ты... А ты... А ты...

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, все в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но — не могу. Слаб, заморочен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами... «Раздави гадину...» — «Не убий...». «Если враг не сдается...» — «Человек человеку — друг...». «Человек по натуре добр...» — «Дурную траву с поля вон...». И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких — судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего...

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашел, наконец, нужные слова и прошипел радостно:

— То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский...

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я еще успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно,— лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. У меня и в мыслях не было, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своем рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий черный. Все было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов еще не был. Он ворочался в своем кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промакивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним не усматривалось — то ли не успел он их еще вынуть, то ли знал свое дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и, поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта — вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

— Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

— Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена.

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

— Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич,— сказал Демиург.— Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтется. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь — обхожусь!

— Да,— сказал я.

— А теперь распорядитесь,— сказал Демиург,— чтобы клиент приступал. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

— Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й», атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась все более напряженной. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаряя революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этом поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным»,— все было путем, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих все более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнес с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и...

ДНЕВНИК. 16 июля.

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду — типичный к у с т,— весь в зеленом и пятнистом, босой, и полна голова репьев. Налетел он на меня с такой силой, что репьи посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г. А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г. А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нем сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потемках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвел его к Г. А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г. А. зашел ко мне и произнес обычное: «Пойдемте со мною, Князь».

Лицо Г. А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не уставал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредоточиваясь), что он озабочен, причем озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г. А., чего ему было надо. Г. А. ответил, что я скоро сам все пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы пришли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г. А. дверь.

Мэр уже шел нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов». Мы с Г. А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооруженным глазом. Они с Г. А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г. А. его сразу же деликатно прервал — похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвел глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать»,— сказал Г. А. Мэр промямлил в том смысле, что прогнать — не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить — и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» — спросил Г. А. «Так в этом-то все и дело!» — сказал мэр с горячностью.

Г. А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры

на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все словно взбеленились. Г. А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стекол побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли — в общем и целом тысяч на пятнадцать.

Г. А. А при чем здесь Флора?

Мэр. Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших — фловеры.

Г. А. Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодежь, солдаты. Там были «дикобразы».

Мэр. «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои — тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г. А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры — завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама-то рвет и мечет, а вдобавок ее подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притягивает ребятишек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизоры не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее — милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года,— дело рук фловеров. И вообще Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодежных кадров, клу́бники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Все это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдет до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу...

Г. А. Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печали. Ты — мэр, ты обязан контролировать ситуацию. Ты — первый человек города, ты — лицо города. Тебя для этого выбирали. Если ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

Мэр. Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

Г. А. Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведешь ты.

Мэр. Это для тебя они экстремисты, а для меня — ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать,— родители! С ними не поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

Г. А. Ревекка тоже не сахар. Для нее, между прочим, Флора — это только предлог. Она гораздо дальше метит.

Мэр. Знаю. В тебя она метит.

Г. А. (демонстративно поглядев в мою сторону). Тихо, тихо, Петр! Дэ ван лез анфа́н!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом — самое время в отставку. Г. А. похлопывает его по руке, смеется, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакаться в жилетку.

Г. А. Значит, я на тебя надеюсь.

Мэр. На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с бюваром. Коломенская верста, по всей голове — белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более, что с ходу подключился к беседе, причем на стороне Г. А.

Г. А. при нем и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникерам. И даже более того — почтительные, но твердые упреки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания — залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и им одним вдохновляется — конечно, при поддержке «господина мэра» и вопреки яростному сопротивлению крикунов и паникеров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе — это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам и паникерам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру все это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг Г. А. ни с того ни с сего сказал — причем голосом неприятным и даже сварливым: «Петр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культуртрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чем не бывало, что забежал, собственно, только на минутку — подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культуртрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошел следующий разговор.

Мэр. Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его — как врага!

Г. А. (тоном нравоучительным до нарочитости). А мне, Петр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Петр Викторович, человек разборчивый.

Мэр. А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако мое мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

Г. А. За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг затоварен десантными комбинезонами б/у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

Мэр (с огромным подозрением). Ты на что это намекаешь?

Г. А. Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкутся разные люди — и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора — это рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре — удар по наркомафии. Помяни мое слово, если завтра в городе начнется дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я — главный мафиози. А ты — мой сподвижник!

Мэр (ошарашенно). Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

Г. А. Вот и подумай. И будь готов: драка предстоит почище, чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г. А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я считаю ее источником всякой скверны, текущей в город, так что, выходит, мои симпатии на стороне противников Г. А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г. А.

Г. А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода, конечно же, должна быть полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» — сказал Г. А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше, чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всем не права. У Флоры, конечно же, есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г. А. понравилось мое рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в гороно и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалилась в кабинет Ревекки, и ее довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображен Г. А.— почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой — огромный уполовник с вареньем, и еще огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г. А. и сразу же спросила: «А что это за юноша?». Г. А. сказал: «Это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь?». Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногсшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г. А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то они с Г. А. знакомы с незапамятных времен. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а потом в Оренбургском педвузе. Он на три года ее старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?)

Г.А. перешел прямо к делу. Он сказал, что пришел самым покорнейшим образом просить ее смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл ее Ривой и смотрел на нее почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всем об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от нее смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г. А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г. А. изобрел способ отвлекать неустойчивых школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрел какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г. А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? — спросил он.— Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г. А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, все будет проделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г. А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобной акции быть не может. Наши дружинники и наша милиция — это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им сделается непереносимо стыдно, и чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом и в конце концов эту самую позорную страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г. А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рассматривать ее как некую преступную трагедию. Главное — все тщательно и четко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром...

Г. А. не дал ей договорить. «Держу пари,— сказал он с напором,— что сама ты не осмелишься присутствовать на этой акции. Ты все тщательно и четко организуешь, ты произнесешь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом,— заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что все окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдет.

Г. А. сказал печально: «Ты наговариваешь на себя. Я ведь вижу, ни в чем ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И, конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города были приведены в полную готовность, ты и соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет «Скорой помощи»... Само решение твое организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать ее дальше...»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! — почти закричала она.— Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимонии вокруг моей дырявой совести, когда речь идет о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза...»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало ни до чего. (Возрастное это у меня, соматическое или психическое — когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь же и не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.)

Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось: харакири; рак желудка; ли-

сенок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на мое несчастье, я все-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г. А. От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г. А., чем больше она на него кричала, говорил все тише и печальнее.

Человечность едина. Ее нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось — сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст их босому фловеру. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле. «Пойди и заработай»,— скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками... И так далее.)

Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г. А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицеях. Оказывается, существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лицеи надобно упразднить как заведения элитарные и противоречащие демократии, а другие — что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лицея в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лицея как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г. А. мое состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось — ни с того ни с сего) поднялся и произнес:

— Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнес он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли, и я полностью очухался,— весь мокрый от пота, но в остальном, как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

— Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что и было явным враньем. Прекрасно она понимала, что Г. А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г. А. сказал совсем уже тихо:

— Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоем.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г. А., или потому, что он таким образом дал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда, спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему — сортир направо, я подожду здесь,— что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г. А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г. А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.)

На лестнице Г. А. процитировал: «Шли головотяпы домой и воздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел... Откуда?». Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г. А. вдруг остановился и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнес задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в гормилицию. Три автобусные остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г. А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьев в голове, умытый и облаченный в цивильное, как все добрые граждане.

Г. А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г. А. почему-то пошел медленнее, без всякой целеустремленности, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы до самого подъезда гормилиции. Г. А. молчал, а я — тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет,— сказал он мне,— к этому разговору я еще не готов. Пойдемте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г. А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идет о выборе между благополучием все-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г. А. явно останется в одиночестве. Если уж мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Сережке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счет других. Это великий грех. Я опять запутался.

Муторно. Поужинаю — и сразу спать.

17 июля, 5 часов утра.

События развиваются странно.

Около полуночи Г. А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал часа три, а Михей вообще только глаза завел.) Мы оделись и сели в машину — Г. А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г. А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки, неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г. А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился — пересек сквер и нырнул в пятый подъезд.

«Как интере-е-есно»,— фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и, в свою очередь, спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись, появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик,— вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?». Г. А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед — рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет»,— и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: «Направо, налево»,— а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич...» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

«Как интере-е-есно»,— повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)

Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои...». А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами — чтобы духу вашего не было!..». И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче... Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб...»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая — кто посмел? И вторая — почему бока у Г. А. твердые, как дерево?

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г. А.: страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился — все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)

Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький. А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:

— Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурбулки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:

— А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

17 июля. Вечер.

Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию. Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь — терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть непохож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также — с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла Тарасович, лично? Что

правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора — это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны — массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли,— волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны — меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более — носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило,— и все это одновременно.

Г. А. признает, что да, трудные настали времена для милиции.

М. Т. (мечтательно заведя глаза). Вот, помню, когда я еще был курсантом... (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты — и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам.— Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)

Г. А. А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

М. Т. Чье указание? Петра Викторовича, что ли?

Г. А. Хотя бы... Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

М. Т. Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопочете?

Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно).

Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?

М. Т. (крайне возмущен). То есть как это — несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями... Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)

Г. А. (пытается втолковать). Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия,— говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!).— Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. «Действуй по обстановке»,— вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из «пятьсот веселого» Оренбург — Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше... Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете и чтобы взял я ему там бульон с пирожками — пусть остынет.

Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.

Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры — приторные до подхалимства. Одно

ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером... Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» — спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея»,— произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (10—14).

...Не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился не он один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники.

Время было смутное — время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рисково, отпето — играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все, что угодно,— от фанатичных убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну, что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошел к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! — говорили ему.— Брось ты своего старого п. . . . , и пойдем выпьем эфесского!» «Сами вы п . . . ,— ответствовал он.— В одном пуке моего п. в сто раз больше толку, чем во всем вашем болботанье». «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! — втолковывали ему.— Как ты можешь верить в подобную чушь?» «Потому и верую я, что это бессмысленно»,— отвечал он, на несколько веков предваряя Блаженного Августина. «Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!» — внушали ему. «Киш мири ин тухес со своим здравым смыслом,— огрызался он,— унд зай гезунд!» (По-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы.)

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему всей душой. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось,— иначе говоря, он стал апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Петр.

В традиции Петр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства — исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же — эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, а еретики — гностики второго века, катары одиннадцатого — тринадцатого веков — всячески противопоставляли Иоанна Петру. Все это домыслы, и все это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь — противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра потому, что не верил ему (как показали события — справедливо). Петр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смиренным, просветленным и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Петр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Петр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надежно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности — просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслонил собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки переливается в него, Иоанна, мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной канаве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство,— первое мистиче-

ское вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские — «таинник».)

Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашел Иаков Старший. «Все,— сказал матерый разбойник.— Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали хабар в компании шлюх и подельщиков в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок.

— Гляди, кто пожаловал,— сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищеброда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая ее грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

— Да это же тот самый Агасфер! — сказал Иаков.— Ботадеус, «Ударивший бога»!

— Не знаю такого,— отозвался Иоанн,— да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с жаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на дороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти годы он мучался мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосягаем. И есть еще тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли Его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

— Этот человек должен быть строго наказан,— сказал Иоанн громко. Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго — так строго, как неспособны наказывать смертные. И, уж конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил,— из живых и из мертвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошел вплотную к нищеброду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под щербатую миску — снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мытарей, на случайных прохожих, а однажды даже — на базу морских пиратов,— пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали поддатого горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты ин флагранти), все было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвались чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завзятому юдофобу, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, все это было совершенно безразлично. «Пергамец! — сказал он с болезненным сарказмом.— Это с такими-то пейсами! А ну скажи: «На горе Арарат растет красный виноград!..» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучал дурацкий вопрос: зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка? Холодный ли расчет? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание еще раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучался — ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн — не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал все обратно. Случай это был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала еще одна ночь жизни. Видимо, яд все-таки проник в его организм, потому что до самого утра мучали его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был кто-то равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя,— вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание,— вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного Суда ты будешь ходить по миру,— сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто и нечто,— сказано было ему.

А вот что такое это «нечто», Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который таким образом остался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, разумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима, в Азию, а именно — на островок Патмос. Что и было исполнено.

(СПРАВКА: Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.)

Иоанн провел на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со все возрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что се человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смокв на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

— Ты вот что, Серега. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минуту назад, до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг...

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

— Куда прикажешь? — спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман.

— Сейчас, подожди минутку,— сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть все увидит своими глазами.

— А вообще-то, чего ждать? Пошли,— сказал я и двинулся прямо в Комнату.

— Спокойно, Серега, спокойно,— промурлыкал Миша у меня за спиной.— Все нормально...

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

— Клиента — в Приемную! Что еще за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

— Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

— Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

— Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я — майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, нисколько не удивился.

— Побеседовать или допросить? — осведомился он.

— Я здесь неофициально,— ответил Миша.— Просто хочу задать вам несколько вопросов.

— Почему — мне?

— Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

— Можете не уточнять. Я всегда в таком праве... Сергей Корнеевич, я все равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостю сесть.

— Не беспокойтесь,— сказал Миша.— Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

— Еще бы... Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

— Кто вы такой?

— У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Мулунгу, Моримо, Мукуру... Достаточно, я полагаю?

— Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

— Я гончар, кузнец, плотник, ткач... Неужели мало? Я Демиург, наконец.

— Но вы, я полагаю, человек?

— Конечно! В том числе и человек.

— А еще кто?

— Вы что — не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

— Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

— Больше полугода... Хотя... Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не все равно?

— Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

— Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

— Хорошо, я приму это к сведению,— терпеливо сказал Миша.— Так откуда вы прибыли?

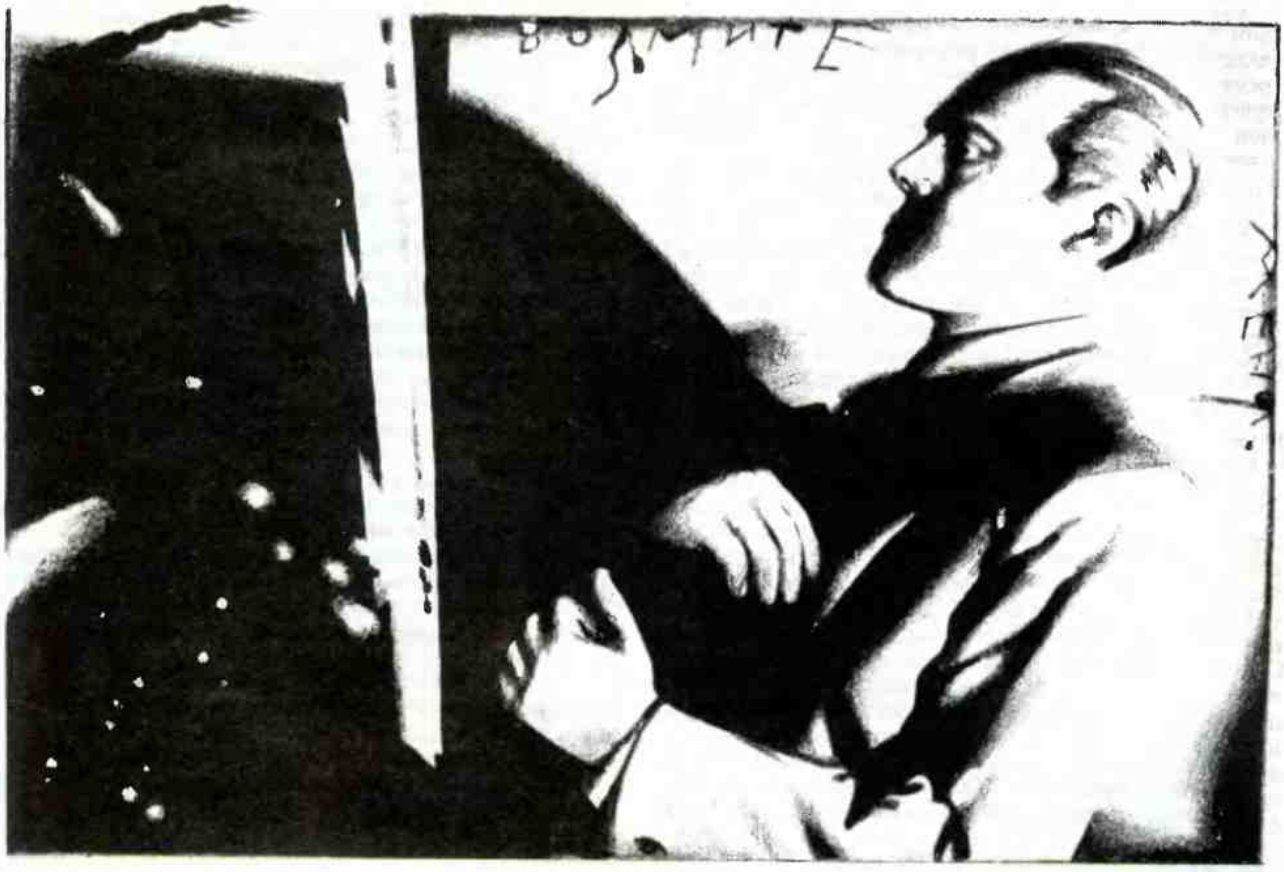
— Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

— Вот в этой самой комнатке?

— Эта комнатка была здесь не всегда, майор. А я — всегда. В известном смысле. Причем и здесь, и не только здесь.

— Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?

— Человек такой способностью не обладает. Вер-



но. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

— Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь.

— Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

— Почему же это вам кажется?

— Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос — о целях пребывания.

— Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

— Я ищу Человека.

— Кого именно?

— Я ищу Человека с большой буквы.

Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел Комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрав голову, под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем — по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела...

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, беззвучными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнес с комической серьезностью:

— А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать еще два осторожных шага — и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз. Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и произвел странное незаконченное движение правой рукой — то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

— Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его у меня со словами: «Давай, давай сюда! Что еще за китайские церемонии!». Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

— Пардон, пардон, пардон! — жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом.— Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю — в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам...

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предо-

ставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страхагент, от которого совершенно не знаешь, как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» — в общем, вел себя не как Исаев-Штирлиц, а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

— Уф-ф... Еле ушел!

Мы начали спускаться по лестнице.

— Ну, как тебе? — нетерпеливо спросил я с тревогой.

И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом деле — ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно... Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас... О жилье не думай, это все будет устроено...

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него — лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие — это шины. А в Кабинете у них — генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело... Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов, месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а еще кандидат, без пяти минут доктор... Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях... Не купили же они тебя, в самом деле! Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначала черт-те что подумал, а ведь я — стреляный волк... Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свидетель... И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими любимыми звездами, забудь про все про это, черт тебя сюда принес!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальней ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест... И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделись. Слушай, что за манера — приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребятишками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим... (Тут он заржал.) Как она из туалета-то выскочила... зааелелась, будто маков цвет... Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем, еще пяток лет — и детей женить пора... А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки, когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь... Ну ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощение, спасибо за привет... Нет-нет, провожать не надо, я знаю — вон там «шестерка» останавливается.

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет,— сказал Миша.— Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его, но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

— Тогда я задам вам вопрос,— сказал Демиург.— Всего один. Чего вы хотите?

— Сейчас я хочу только одного,— криво улыбаясь, проговорил Миша.— Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

— Воистину странный ответ,— сказал Демиург.— Не ожидал от вас... Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

— Ах, вы имели в виду... Знаете, все, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там все написано.

Демиург грянул:

— Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу — подать.

...И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в Приемную, он сказал:

— Впредь попрошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение... Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха — это эпоха могущественных организаций, а я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. СПРАВКА. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провел у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых «в могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал...

ДНЕВНИК. 18 июля.
(Дополнение к 17-му)

Я, точно так же, как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г. А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он — нет. Он вообще не признает это понятие — «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим МЫ,— тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безоглядное чинопочитание, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.)

Понимание и милосердие.

Понимание — это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие — это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие,— там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, где присутствует все, что угодно, кроме милосердия,— там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека.

В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И, разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...» Значит, все-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И Г. А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрезен.

18 июля (вечер).

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил — ни к черту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г. А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчет-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно! Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в нее... А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. («Эге!» — разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. («Эге!» — сказал я сам себе и, за отсутствием Г. А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности, заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г. А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крестного» из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомерзости? И откуда он мог знать, что Михайла Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил ее не сообщать. И воздерживаюсь излагать ее здесь. И так запомню.

Г. А. знает, что делает,— на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьей в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ёжика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распущен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии две девчонки оттуда лежат — одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? Подлесок!»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры, стоят по двое, по трое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед «Неедякой» — двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают». Еще плакаты (на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперек улицы) — черным

по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зеленого гноя!»...

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка приняли то ли для смелости, то ли для бодрости,— раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.)

И, конечно же, ни одного фловера. Что неудивительно. Будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трехсот километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Не полные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня екнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти, все честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклуксклановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ.

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, ни о чем таком и не думавшим. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к фловерам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попалось им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят... Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.)

А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор гороно товарищ Лютиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с гениальным предложением: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведет эффект. Это найдет отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый...»

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя, казалось бы, ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же. Особенно на ЕЕ месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг — гвалт, размахивание руками, и каждый — ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Ираклий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке — невостребованный белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору... так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г. А. или нет? И как относиться нам к его правоте или неправоте? (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Ираклий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками.)

И что еще замечательно: ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г. А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного — целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г. А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками, главным образом, потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся, но никаких серьезных оснований отмежеваться от боль-

шинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г. А., и это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не Г. А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем не ясно нам с Мишелем, как быть дальше. Следовать своим убеждениям — значит остаться в дураках, да еще предать Г. А. вдобавок. А слепо идти за Г. А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки все просто. Она очень любит Г. А., и она очень жалеет Г. А. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г. А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеждения: ей жалко любимого Г. А. до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а Г. А. должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь! А будешь много тявкать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет домой на завтра, на тринадцать двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно». Человековедение — это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее... Г. А.— бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А. и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас — с утра до ночи и с ночи до утра, гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих...) А Флора для нее — за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне... Г. А.— святой, а вы — нет. А я уж совсем нет, до последней степени — нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь все-таки...

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имедж. Г. А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твердо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупрежден о своей неотвратимой гибели. Не надо: слюней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твердость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г. А.— гений, это бесспорно. Да с этим никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить; что гении тоже ошибаются. Ньютон... Толстой... Эйнштейн... и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму...

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были — яростное швыряние помета и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

Я. Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

Он (пренебрежительно). Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

Я. Нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно-твердым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым?

Он. Что ты ко мне пристал? Я не врач!

Я. Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных — только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог — это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство — гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

(Он в бессильной ярости принимается швырять в меня пометом и банановой кожурой.)

Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Сережка Петух и Ахметбогатур заметно отличаются и от моих ребятишек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда. Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелися сам. Педагоге, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитываешь, что сотня Г. А. их не перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто и уже припахивает пылью. Но на стенах — милые сердцу картинки. На подоконнике — недостроенная модель Термократора. На столике — развороченный компьютер. На спинке стула — забытая Ёжикова майка с надписью «It's Time of Total Truth...». Я присел перед подоконником, впаял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье — в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г. А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

РУКОПИСЬ «ОЗ» (15—18).

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на

сон грядущий Агасферов «Преканон». Они разговаривали в Комнате. Тоже, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не мог,— гортанном и изобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел, как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь Бледный, бешено топча сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжелое ударило в стену, да так, что все висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах вылетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня, наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками,— то ли норовил вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были черные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалипсический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра — засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило — портфель полетел в сторону, а освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть ее была раскалена и светилась всеми цветами побежалости, и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по комнате дымные искры и капли. А потом левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже, как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и, словно окурок сигары, выплюнул ее в бездонную тьму за дверью Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нимало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращенный портфель. В углу все еще корчилась, остывая, страшная рука — скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трех конечностях, прижимая четвертой портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо.

Демиург грянул:

— Да вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

— Благодарствуйте, мой Яхве! — весело сказал он.

Так закончилась еще одна ссора между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга... Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был — что-то неописуемое. Тощий, старый, бледно-зеленый, с запекшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Все очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку, это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, забросан грязью, заклеймен как человеконенавистнический. Все беды — именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена — овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями...

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же начать все сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И все это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унизительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых — это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приемную, с отвращением обтирая об себя ладони, липкие от хладного пота ходатая, Демиург спросил:

— А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

— На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов всем известно: как аукнется, так

и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступало время обеда.

17. Я шел с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплый, задыхающийся голос просительно просипел:

— Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

— Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только...

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и лишь шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

— Языком вылижу! Блестеть будут...

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошел прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он лишь опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понурив голову. У него был вид человека, обреченного на казнь.

Душевное равновесие мое было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида — в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч... Виноват...» Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу и, взяв наотлет свою палку, проговорил, словно в театре:

— Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен.

— А-ап...— сказал я.— А-ас... Собственно, это я был небрежен... Вина, собственно, моя... Еще раз — пардон.

— Мы оба были небрежны,— с видимым облегчением произнес пенсионер и улыбнулся, как мне показалось, фальшиво.— Вообще-то сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать.

— Правда ваша,— согласился я, чтобы не затягивать сцены, и пошел себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под ребрами справа. Все вокруг было до тошноты знакомо. Испещренный трещинами неровный асфальт с вечными лужами, и прошлогоднее пятно на нем от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылинявшим плакатом «Саду — цвесть!» на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, все больше тетки с кошелками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы все, как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить.

...Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «40», а половина шоферов, как водится, никакого внимания на это не обращала... У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

...Что они мне все улыбаются? Я эту тетку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как ее зубы... И эта туда же...

— Здрасьте... И вам здрасьте... Приветствую вас...

Вот оно! Ведь все же прячут глаза... лица прячут... Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет... Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон чуть ли не подобострастный и — «здрасьте! здрасьте вам! доброго денечка!» Сначала я подумал было, что это моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денечка.

...Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступленные почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочел бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или по крайности включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это во-первых, а во-вторых, черт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всем самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного я не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все. Они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норовили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки ее так и порхали — выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали,— и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?» Зовут ее Аэлита.)

В магазине были еще грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных черных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобычных возгласов: «Валек! На хрен ты, пала, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут. В очереди разговаривали:

— Дожди и дожди, а снегу все нет...

— Очень нужен снег. Для урожая.

— Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой — это самое первое дело.

— То-то Рейган радуется!

— У них там — тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны...

Шесть человек до кассы. Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполоборота и, напрягшись, выдавил заветное:

— Осень в этом году. Все тянется и тянется...

Я напрягся и ответил:

— Да. Полгода уже тянется.

— И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассыпаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга. Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел по новой:

— Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень — без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

— Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

— И в Австралии! — объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: — Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки...

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

— Я, кажется, перед вами занимала...

— А пожалуйста,— сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа вперлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать свое право. Ладно, я четвертый, переживу... А вот я и опять третий...

И вдруг раздался странный звук, нечто вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду все замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я все стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у нее какой-то припадок, приступ какой-то и надо бросить-ся и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром... Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услыхал, был пронзительный, душераздирающий вопль Аэлиты:

— Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя непроспатая! Это же ученый из нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

— У них такое пятно должно быть лысое за ухом...— виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

— За каким ухом-то? За правым? За левым? — спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряженно-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

— Нет у него ни хрена,— с явным облегчением и уже раздраженно сказал второй голос.— Ни за левым, ни за правым... Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

— Да я же вам говорю! — снова завопила Аэлита.— Ученый он, из нового дома на Балканской!

— Так, а чего он, понимаешь...— агрессивно-виновато сипел басок.

— Чего, чего... В очереди человек стоял, вот чего!

— Так, а чего он на нее глядел? Так и вперился, как этот...

— Ладно, давай хоть посадим его, что ли...

Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

— Извини, друг,— просипел тот, что был слева.— Мы тебя за этого приняли... за громобоя... знаешь, который разрядом человека бьет... Уж больно ты страшно на эту бабу уставился... Прямо вызверился, как этот...

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

— Продуктов-то сколько потоптали! — завопила Аэлита с новой силой.— Прилавок опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

— Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич напомнил мягко:

— Сережа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдемся! Ведь говорил же!

— Так масла же не было в доме ни крошки,— сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался...

(Окончание следует.)

Евгений ЕВТУШЕНКО

Вандея

Идет реакция «свиньей»,
как шла тевтонская угроза,
и у реакции родной
есть дух вандейского навоза.

Вандейство — это ремесло
глотать мятежников живыми.
Провинции французской имя
к родимым рылам приросло.

Отечественное болото,
самодовольнейшая грязь
всех мыслящих, как санкюлотов,
проглатывает, пузырясь.

Литературная Вандея,
пером не очень-то владея,
зато владея топором,
всегда готова на погром.

Литературная Вандея,
в речах о Родине радея,
с ухмылкой цедит, что не жаль
ей пастернаковский рояль.

Она рычит в квасном угаре,
что рок-н-ролл — исчадье зла,
что, как шпионка Мата Хари,
к нам аэробика вползла.

За экологию природы
встает, витийствуя, она,
но экология свободы
ей непонятна и страшна.

Когда талант в такой трясине,
обидно чуть ли не до слез,
но лжеспасители России —
они вандействуют всерьез.

Вот в чем для Родины опасность —
когда заправский костолом
заходит со спины на гласность
со шкворнем или с кистенем.

И быть пужливым «прогрессистом»
позорно в час, когда войной
с прихрюкиваньем и с присвистом
идет реакция «свиньей»...

«Прелестный» сон

Мне сон приснился:
я дошел до ручки.
Попал я внутрь бесстыднейшей толкучки.
Здесь на прилавках
груды убеждений.
Их продают
из лучших побуждений.
Здесь непродажность,
будто бы заразу
искореняют...
Совесть — смертный грех.
Я продаю себя.
Меня — все сразу.
Все — каждого,
и каждый — сразу всех.
Здесь продают друзей своих и братьев,
страх наказанья божьего утратив.
Здесь предают костру
любимых женщин,
а после смотрят,
как их будет жечь он.
Здесь продают детей своих родимых
для опытов,
потом неизгладимых.
Здесь ядерные ведьмины варенья,
и зелье
для народоодуренья.
Торговцы обещаньями
народу
с двух до семи дают, как водку,
воду.
Спешат в пустыню спятившие реки,
как на курорт от северных простуд,
да вот внешпосылторговские чеки
на саксаулах что-то не растут.
Великая борьба за мир
и дружбу
превращена в борьбу за миф
и службу.
Пока еще не пойманные воры
торгуют даже гайками с «Авроры»,
а винтики вчерашние,
не ноя,
торгуют развинтившейся страною.
Все спутали, талоны спьяну выдав
коврам
на полученье инвалидов.
Здесь всучивают лихо,
словно в цирке,
от бубликов классические дырки.
Как в славные ташкентские денечки,
поддельные толкают орденочки.
Прелестный сон...
Идет продажа дали,
той дали,
за которую страдали.
Высматривая хищно, кто масон там? —
расселись спекулянты горизонтом.
Кусками продают и целиком
даль,
сделанную ими тупиком.
А по ночам сгребают самосвалы,
как выкидышей,
наши идеалы,
и кто-то Колыму на всякий случай
опутал в..овь прелестницей колючей,
и в лагеря запрятанная гласность
оплакивает прежнюю напрасность...
Все сделаю.
В любом бою не рухну,
чтоб этот сон «прелестный» не был в руку!

Личное письмо генералиссимуса

Над рекой забайкальской —
Селенгой
люди сталинкой не пахнут никакой,
лишь с настырной, ржавой сталинкой
бормочет
хилый,
старенький
инвалид
с кедровой, щелистой ногой:
«Распустились,
разболтались все подряд.
Что спасет Россию?
Новый Сталинград.

Был бы Сталин жив,
сидел бы в людях страх,
а без страха всей России будет крах...»

На воротах у него
орел орлом
в жестяных цветах могильных под стеклом
смотрит сам генералиссимус
так, что бабы с коромыслами
приглушают легкомысленность при нем.
Над рекой забайкальской
Селенгой
раньше лагерь был,
режим в нем был строгой.
И подходит к инвалиду войны
инвалид лагерей,
но без вины,
из Москвы приехав кашляюще
на бескладбищное кладбище,
где товарищи его погребены.

Говорит он:
«Я скажу вам не в обиду,
от души,—
как инвалид — инвалиду.
Ну, зачем вам на воротах нужен тот,
кто людей держал в загонах,
словно скот?»
Заобиделся военный инвалид:
«Его памятник в душе моей отлит.
Вождь крутой,
а не иной был нужен нам.
Знал зато он всех солдат по именам.
Знал по имени-отчеству меня,
и письмо мне сам послал из Кремля».
Инвалид расправил грудь,
возвысился,
будто бы он влез на пьедестал:
«Личное письмо генералиссимус
написал
и лично подписал...»
И к сокровищнице тайной своей
он повел инвалида лагерей.
Он открыл сначала кованый ларь,
в нем ларец был, тоже кованый, как встарь,
а в ларце —
коробка из-под монпансье,
а в коробке — то письмо,
а в том письме
благодарность за сраженье под Орлом,
имя, отчество, фамилия —
пером,
а вот сталинская подпись —
лишь клише,
лживо льстящее доверчивой душе.

Как слепа была солдатская искренность!
Вот как предало его оно само,
личное письмо генералиссимуса,
личное безличное письмо.

Над штампованным автографом навзрыд
плачет военный инвалид.
Старый лагерник
вертит письмецо,
но усмешку не пускает на лицо.

Вот что прячут ветераны по домам.
Вот за что вождя и любят —
за обман.
Но, по счастью, инвалиды лагерей
инвалидов той войны
чуть-чуть мудрей.

☆☆☆

Какая мне разница,
когда я умру!
Я Пушкина, Райниса
с собой заберу.

Поэзия-пропасть,
поэзия-ад,
но все-таки пропуск
из ада — назад.

Мой перший, найкращий
поэт — был Тарас.
Он смерти ледащей
меня не отдаст.

Я в Лете несломанно,
чтоб не укачала тоска,
схвачусь за соломинку
есенинского волоска.

Я из умиранья,
на лацкан гвоздику табидзевскую наколов,
умчусь на Мерани,
который пришлет Николоз.

Бухта Провиденья

На шкуре росомахи
не выступает иней,
и шьют из этой шкуры
подгузнички чукчат.
Любви нет первобытней,
нет нежности звериней,
чем там, где даже шкуры
от холода рычат.
У здешней разведенки,
налившись болью, зреют,
тоскуя под кухлянкой,
два желтые плода.
А люди здесь не злеют.
От холода теплеют.
Во льдах никак не выжить
всем тем, кто изо льда.
Я в Бухте Провиденья
живу, как привиденье
забытого поэта,
того,
с материка.
В чужих глазах счастливчик,
как снег, попавший в лифчик,
и счастлив лишь, наверно,
но не наверняка.
Подобная наверность
судьбы моей неверность.
Со мною — ненадежно.
Со мной — плохие сны.
Я вроде разведенки,
в лед вмерзшей плоскодонки,
и об меня скулежно
боками трутся псы.
В день внюхиваясь чутче
любого в тундре чукчи,
привстал скулящий соболь
на позвонке кита
и жалуется вроде,
что здесь, на кожзаводе,
уж если снимут шкуру,
то выделка не та.
За спящей молчаливо
полосочкой пролива
солдат американский
прислушался не зря.
Взрыв где-то ухнул тяжко.
Рванула, видно, бражка.
Не дождалась, бедняжка,
седьмого ноября.
Оркестрик пограничный,
лицом краснокирпичный,
готовится к параду,
чуть в музыке греша,
и наши карацупы,
одетые в тулупы,
всласть шмыгают носами
под носом США.
А соболь, соболь, соболь
с повадочкой особой
по айсбергам в проливе
кружит,
хвостом пуржит,
между двумя системами
и льдами-хризантемами,

между двумя радарами,
между двумя ударами
со льдиночки на льдинку
бежит и не дрожит.....

1987—1988

Возмутители

Волчий закон
да пурга —
царская Кондопога.
Слезы икон
одна за другой
сползали в озера
над Кондопогой.
Шкалик спасительно пряча
в азям,
прорубь долбая
под свист непогоды,
били пешней по замерзшим слезам
плакальщицы-природы.
Тысячи выплаканных озер,
и валуны,
валуны перед нами,
будто стреляли по смердам
в упор
пушки,
заряженные валунами.
Предпугачевье —
сплошная рана,
не только до Аллы,
а до Емельяна.
С шипеньем,
кроваво, а не елейно
народ просвещали
каленые клейма,
чтоб знали
безграмотные медведи —
аз,
буки,
веди.
Сперва выжигали,
клеймя, как скотину,
«Веди» на правой щеке
сквозь щетину.
Прямо на лбу
вытравляли «Око»,
чтоб не мыслили
слишком глубоко!
Ну а на левой щеке:
«Зело»,
чтобы сомненье
в бунтарстве взяло,
но разум будила
в народе-творце
кириллица,
выжженная на лице...
Грязь,
муки,
ведьмы.
Аленушка-клейменушка
в лесу.
Аз,
буки,
веди
калеными щипцами по лицу!
Сделало царское образованье
лица —
клейменными образами.
«ВОЗ» — (возмутитель)
кричало само
это трехбуквенное клеймо.
И возмутитель
действительно вез
воз перегруженный
горя и слез.
В русской истории столько
историй,
столькие клейма,
что не отскребу,
но возмутитель — тот воз,
который
тащит историю
на горбу.
Нету героев грядущих
времен,
тех, кто при жизни
не заклеймен.
О, заклейменная моя Родина,
ты возвращалась
в бунтарстве своем.
В будущем ценится выше
ордена
то, что считалось в прошлом
клеймом.
Нас
вьюги
вертят.
Кореш,
не околей!
Аз,
буки,
веди,
выведите в мир без клейм!
Я бы хотел
в этой затхлости,
тинности,
где «Котлован»
на полвека позднее
прочли,
быть возмутителем
невозмутимости
тех, кто проспали Россию
почти.
Пусть же на правой щеке,
как в бурьянной траве,
взвоет вдовою беременной
«В»!
Как я хочу,
чтоб лоб мой ожгло
петлей, сбежавшей от
виселиц,
«О»!
Ну а на левой щеке
вспыхнет
«З»
ломаной молнией при грозе!
Спас
звуки
меди
исстеганных колоколов
«Аз,
буки,
веди...» —
ангел клейменых слов,
может быть, в жизни еще
успею я
до неклейменности
добрести?
Встала народная церковь
Успения
в честь возмутителей
на Руси.
И потому не мелеют озера,
что, наливая их болью
до дна,
как деревянная Федосова *,
по заклейменным рыдает
она.
«Аз,
буки,
веди...»
Азбука раскалена.
В нас
будьте дети —
только бы —
без клейма...

---

* знаменитая народная сказительница

20 КОМНАТА

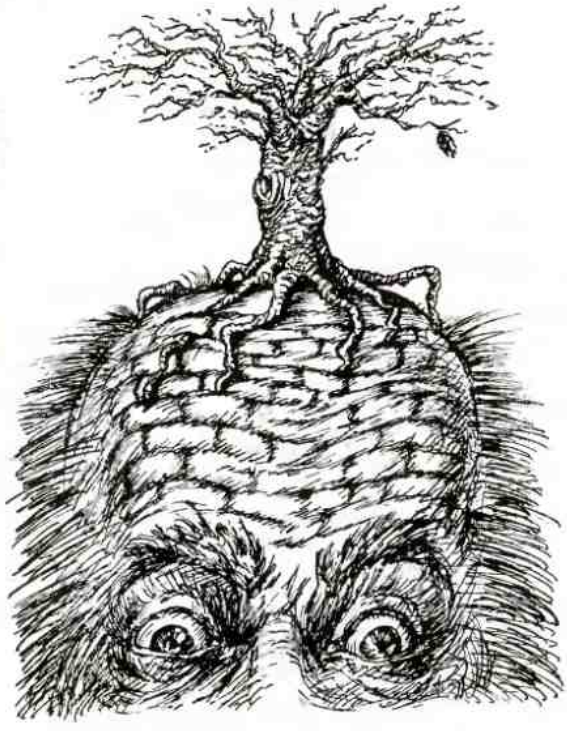
ЗАСЕДАНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Как вы помните, статья «Философия в повелительном наклонении» (см. заседание девятое) получила наш «Золотой ключ». Отдавая ей предпочтение при выборе лучшего материала года, мы не ошиблись. Статья вызвала огромный интерес у читающей публики. Нас это чрезвычайно радует. Новое мышление, без которого невозможен успех перестройки, должно, на наш взгляд, проявляться прежде всего и более всего в философии — основе духовной жизни, ибо все наши действия должны быть осмысленными — путь вслепую ведет в никуда.

Сегодня мы продолжаем разговор о философии, основываясь на письмах и статьях, которыми вы откликнулись на нашу публикацию.

Возвращаемся к статье «Философия в повелительном наклонении», № 10, 1987.

Повелителей не судят



Итак, семнадцатое заседание «20-й комнаты». Пора думать о будущем. Традиционно в таких случаях задают вопрос: «Ваши творческие планы?». Мы отвечаем так:

— Планы большие. Особое место в них мы отводим юбилею «20-й комнаты» — ее двадцатому заседанию. Как оно пройдет? Давайте подумаем вместе с вами. Напомним только, что «20-я комната» неизменно собирается под девизом «Тревожные проблемы с точки зрения молодежи». Проблем у нас не убавилось. Тревоги — тоже. Какие вопросы наиболее актуальные сейчас? Какие темы мы еще не затрагивали? По каким адресам должны выехать наши корреспонденты? Что наболело на душе?

Пишите, звоните. Ждем.

«...партикулярные люди о таких материях явно размышляют, о которых в прежнее время даже генералам не всегда размышлять дозволялось».
М. Е. Салтыков-Щедрин.

О любви к мудрствованию и философских блохах

Тон делает музыку (фр.).

«Я преподаю философию 25 лет. И готов подписаться под каждым словом статьи. Особо важной задачей считаю воспитание демократического стиля мышления. Самостоятельность, диалогичность и самокритичность — вот три его важнейших элемента».

С. А. Равинг, доцент кафедры философии МОПИ, г. Москва.

«Статья начинается в минорном тоне, а далее весьма картинно говорится о перестройке, захватившей все сферы общественного сознания нашего общества. Не коснулась она, по убеждению авторов, лишь философии. Прямо слезу выбивает этот горький плач. Но не стоит поддаваться первому чувству. Статья не об этом. Вступление — камуфляж.

Далее авторы критикуют недостатки в издании трудов философов прошлого и современных буржуазных. Но какой язвительный тон придается этой справедливой в принципе критике! Авторы думают, будто изданию западной философской литературы препятствуют наши философские «генералы», опасающиеся стать в результате ненужными. Что буржуазные философы не издаются — это плохо. Не может быть теории предмета без его истории. Но и истории не может быть без теории. Нельзя вести борьбу с идейным противником по чужим отрывочным комментариям. Но при чем здесь боязнь оказаться «ненужным»? Философия, как никакая другая наука, является партийной. Почему же коммунистическая партийность нашей философии окажется ненужной на книжной полке аспирантов?

Главная часть статьи посвящена «учебной философии». Авторы, правда, не оговариваются, о каком учебном заведении идет речь. Это необходимо уточнить. Философия как составная часть марксизма-ленинизма изучается во всех вузах. Но в зависимости от профиля по-разному строятся учебные программы. А отсюда разные частные методики преподавания философии. Среди факторов, определяющих особенности методики, важную роль играет модель подготавливаемого специалиста. Представляется, что авторы гово-

рят о программе и методике преподавания на философских факультетах. Критические замечания в этой области кажутся справедливыми. Но они не новы. Все это уже обсуждалось, но в другом, деловом и спокойном, тоне еще в октябре 1986 года на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук вузов. Реформа высшего образования предоставляет сейчас много прав кафедрам вузов по составлению календарных планов, сетки часов, а отсюда и методик изучения тем. Поэтому все эти проблемы можно спокойно решить на кафедре, в крайнем случае на совете кафедр общественных наук, имеющихся в любом вузе, а не ломать копья в литературно-художественном и общественно-политическом ежемесячнике, издающемся миллионными тиражами для самых массовых читателей страны. В действительности авторов меньше всего интересует частная методика преподавания философии. Им надо как можно громче, скандальнее высказать свое мнение о структуре философии и о задачах философии вообще.

Авторы считают, что современная структура философии сформировалась в конце 30-х годов с выходом краткого курса «Истории ВКП(б)», «...когда население страны было большей частью не только бескультурным, но и безграмотным» и т. д. Тон авторов пренебрежительно-высокомерен, саркастичен, а самое главное — лжив по существу. Бытие 30-х годов нашей страны знаменовалось победой социализма. Это нашло свое отражение в Конституции победившего социализма. По своему содержанию она являлась высшим достижением политической культуры своего времени. И это создал «безграмотный» и «бескультурный» народ? А почему авторы взяли в кавычки «методологию» и «высшую цель»? Методология — это применение принципов мировоззрения для познания и преобразования действительности. В 30-е годы, так же как и сейчас, нашим мировоззрением являлся марксизм-ленинизм. И его высшей целью всегда было построение коммунистического общества. Но никогда не ставилась задача «покорения мира». Так в чем же смысл авторской иронии кавычек? Может, они пояснят? Но дело не только в тоне, которым пронизана вся статья. А она вся написана в одном ключе.

Очень своеобразно понятие авторами задачи философии. По их взглядам, философия — это способность все подвергать сомнению; каждый ищет в ней оправдания любого своего шага, и продирается к истине кто как может, а куда выйдешь — это кому что бог пошлет.

Но ведь речь-то должна идти о марксистско-ленинской философии. А она вооружена диалектическим методом и сразу же сформулировала свою задачу «не только объяснить мир, но и изменить его» по коммунистическим идеалам. Диалектический метод не характеризуется конформизмом. В. И. Ленин подчеркивал, что нам нужны такие люди, «за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», не испугаются «никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели». Но ведь это далеко не одно и то же, чтобы брать под сомнение «азбучные» и «вечные» истины. Это школярам только свойственно «самому» до всего доходить. Зрелые люди идут вперед, используя наследство своих великих предшественников. Поэтому весьма сомнителен категоричный лозунг наших молодых авторов: «Не лучше ли энергия заблуждения энергии компиляторства чужих цитат?» Не лучше!

Имея в виду недостатки методики преподавания философии, якобы избегающей острых проблем и дискуссий, авторы предупреждают: «Действительно, посеешь штиль, пожнешь цунами». Это довольно-таки вольный перефраз (так у автора.— **«20-я комната»**) Гейне. Уж не думают ли авторы, как говорят, без ложной скромности, что их статья представляет цунами? О ней скорее можно сказать подлинными словами поэта: «Я посеял зубы дракона, а сбор жатвы дал блох».

И еще об эпиграфе. Авторы предпослали своей статье цитату из Салтыкова-Щедрина: «...всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний». Как, по-вашему, уважаемые авторы, это абсолютная ирония безотносительно ко времени и месту? Не думаю, что М. Е. Салтыков-Щедрин сам так считал. Что верно сто лет тому назад, то сейчас...

КПСС, по Конституции, является руководящей силой нашего общества. Возглавляя перестройку, она дает всем общественным наукам социальное задание по решению актуальнейших задач современности силой своих знаний. Поэтому использование цитаты из Салтыкова-Щедрина как эпиграфа к данной статье представляется недиалектичным.

Выше уже говорилось, что представляется сомнительной целесообразность выносить на суд широкой аудитории специальную проблему. Но редакция «Юности» пошла дальше. Она разделяет мнение авторов, предпослав заголовку статьи рисунок кирпичного лба мыслителя с чахлым, а может, и засыхающим деревцем, выбивающимся из каменной кладки этого лба. В действительности же именно марксистско-ленинская философия смогла осмыслить все особенности текущего момента нашей и мировой истории, обосновать необходимость перестройки в стране и возникновение исторической общности людей — человечества. Это философское открытие воплощено в политику действия и уже приносит международное признание. Так что марксистско-ленинская философия, о которой ведется речь в рассматриваемой статье,— это не хиреющее деревце, а могучий зрелый дуб, под сень которого приходит все больше и больше народов мира. Кстати, философия из головы не растет. Она формируется с помощью головы. А ее питательной средой являются реальности окружающего нас мира».

В. Дементьев, доцент кафедры марксизма-ленинизма Саратовской консерватории имени Собинова.

«Душеньки, деточки, философы! Я с вами совершенно согласна: учебники по философии для вузов никуда не годные. Но большинство их и не открывает. Экзамены сдают по лекциям, конспекты переходят из поколения в поколение. Учебники неинтересные, мыслить по ним не научишься. Философия у нас ничего не объясняет, а тем более не учит переделывать мир. Каждый обречен барахтаться в омуте своих, зачастую субъективных и примитивных впечатлений от мира, обречен на примитивную философию. За все время работы в вузовской библиотеке не встречала яркого, умеющего хотя бы говорить философа. Все страшно дремучие. У нас больше философы «Машина времени», Алла Пугачева, поэты и наш любимый М. Жванецкий».

А. Б., г. Владимир.

«В замечательной сказке Евгения Шварца опомнившийся герой, ко всеобщей радости, заклинает свою вышедшую из-под контроля и заступившую его место тень словами: «Тень, знай свое место!» Этим, в сущности, исчерпывается то, что следует сказать в адрес нашей философии вслед за М. Маяцким и Э. Надточим. Вся эта «наша» философия придумана не отгаданным мной профессором О. и всей его честной компанией и ни к Марксу, ни к Платону никакого отношения не имеет. Придумана для нас, а в жизни профессора О. исповедуют ту философию, за которую больше платят и начальство по головке гладит,— философию чечевичной похлебки».

А. Кадацкий, г. Истра Московской области.

«В 70-е годы окончила университет марксизма-ленинизма (факультет «марксистско-ленинская эстетика»), и с тех пор марксистская философия прочно вошла в мою жизнь. Где бы я ни была, с кем бы я ни разговаривала, эта философия вызывает у меня трепетное волнение. Я сама иду на контакт с людьми, чтобы выявить их мировоззрение по данному вопросу.

Я прочла много литературы по марксистско-ленинской философии, и сейчас, если в мои руки попадает книга по философии, я прежде всего читаю аннотацию. Узнав, что речь идет о буржуазно-идеалистической философии, книга для меня теряет интерес. И я не хотела бы, чтобы в будущем моему внуку забивали голову первоисточниками изначальной идеалистической философии.

Теперь конкретный вопрос к авторам — о названии статьи: какую философию имели в виду в повелительном наклонении? Ведь у нас в Советском Союзе основополагающей философией является марксистско-ленинская, которая для каждого человека должна быть уже потребностью, ибо любая другая является буржуазной. Вы указали несколько фамилий философов, ни одного из них я не нашла в энциклопедическом словаре. Вероятно, они являются буржуазными идеологами. Вы, аспиранты, можете изучать их философию, мне, как материалисту, они совсем не нужны. Я убедилась, что любая буржуазная идеология вносит какое-то ненужное брожение ума и очень разочаровывает.

Уважаемая редакция «20-й комнаты»! Не знаю, по какому принципу вы вручили «золотой ключ» авторам этой статьи, но я бы этого не сделала».

Тарасенко В. Т., пенсионерка, г. Москва.

«У нас на семинарах по общественным дисциплинам исподволь прививается очень конкретное жизненное мировоззрение: люди делятся на тех, кто имеет истину, и тех, кто ее не имеет. Не имеющий или вновь обращается, или объявляется изгоем. Авторы статьи находят источник такого понимания истины в «Кратком курсе», писанном для малограмотного и малокультурного населения нашей страны. На мой взгляд, истоки гораздо глубже: в утилитаристском, чисто прикладном отношении нашей интеллигенции к истине, о котором Бердяев писал: «Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота... Она шла на соблазн Великого Инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей».

Догматизм системы, диктуемый «Кратким курсом»,— прямой наследник интеллигентского макиавеллизма: для блага государства все средства хороши. В этой системе нет места ни личной свободе, ни свободному волеизъявлению, ни личному достоинству. Потребил — и будь доволен».

В. Андреев, пос. Косья, Свердловской области.

«Наше общество, начиненное идеологизированной философией, теряет гораздо больше, чем приобретает от декларируемого единства. Если «единство» достигается тотальным уничтожением одной части во имя другой, то это единство ущербное и, как правило, неустойчивое. Философия должна и имеет право развиваться в диалектической борьбе, а не в условиях патологического отрицания всего «чуждого». Я предлагаю обсудить на страницах вашего журнала возможность и необходимость организации Ассоциации любителей философии СССР».

В. Солодкий, г. Алма-Ата.

«В начале декабря на семинаре по философии в одной из групп нашего института встал студент и под одобрительные замечания своих друзей начал, обращаясь к преподавателю и апеллируя к группе, доказывать, что изучение философии в вузах надо приостановить, поскольку советская философия как наука устарела, отражает и защищает осуждаемые сегодня перестройкой взгляды. Вся его аргументация сводилась к цитированию выдержек из статьи «Философия в повелительном наклонении». Однако эти выдержки не могли содержать сколько-нибудь значимых аргументов, поскольку вместо доказательств своей «неопролеткультовской» позиции авторы используют большой пафос, обилие метафор и сомнительных аналогий. Авторы не пытаются даже проинформировать читателя «Юности» о том, что мировая философская наука самыми серьезными работами по истории философии считает труды советских философов, что наших философов охотно переводят на другие языки, что советская философия разработала концепцию поэтапного развития советского общества, перехода к государству общенародной демократии, понимание современной эпохи и ее содержания, мирного сосуществования, нового политического мышления, внесла значимый вклад в разработку глобальных проблем современности, в решение задачи соединения достижений современной НТР с преимуществами социалистической системы хозяйства и многое другое. А сколько уважаемых имен в нашей философии!

Задача науки — показать и пути преодоления негативного. Есть ли это в обсуждаемой статье? Есть. Если несколько утрировать, то позитивная программа авторов такова: убрать «философских генералов», наладить поток изданий (в переводе на русский язык) сочинений современных западных философов. Итак, опять ориентация на Запад! (Опять — как Герцен? «Космополиты» 1948-го? Чебурашка 1987-го? —**М. М., Э. Н.**). Оправдано ли требование издавать у нас все работы сколько-нибудь значимых зарубежных философов? Думаю, ответить на этот вопрос с ходу непросто. Да и не с ходу тоже. В стране существует система информации, позволяющая оперативно знакомиться с трудами зарубежных авторов. Все издания, сколько-нибудь значимые, закупаются за рубежом по крайней мере в нескольких экземплярах, и уж кому-кому, а аспирантам Института философии всегда есть возможность прочесть работу в подлиннике (если знаешь язык) или в переводе, поскольку есть ведомственные службы, которые переводят наиболее профессионально интересные работы, есть организации, которым можно заказать перевод, в том числе по безналичному расчету.

Переводы по актуальной тематике издаются издательствами достаточными тиражами. Действовать же в расчете, что западных философов будет читать весь народ, неразумно. Не будут доярки фермы Карино Зарайского района Московской области ничего такого читать хотя бы потому, что у них один выходной день приходится на девять рабочих, а рабочий день разорван с 4 утра до 10 вечера...»

Ю. А. Фомин, зав. кафедрой истории КПСС и философии Московского областного института физкультуры.

«Произведения западных философов издаются мизерными тиражами, и купить их практически невозможно. Говорят, книга Поппера поступила в Астрахань в количестве двух экземпляров. (Между прочим, здесь три вуза.) А где книги Фрейда, Киркегора, Ницше, немецких и французских экзистенциалистов, Фуко, «новых» философов, герменевтиков? Фрейд у нас все ходит вроде в порнографических писателях. Литература, языкознание, искусство — все висит в воздухе, ничто ни с чем не сопрягается. К счастью, ряд философов переведен на русский, их книги вышли до революции или в изданиях двадцатых годов, но к тем, которых не успели перевести (или которые вообще творили после!), доступ практически закрыт.

Перейдя 30-летний рубеж, взялась за изучение немецкого языка. Может быть, таким образом удастся познакомиться с Хайдеггером, Ясперсом и другими. В наших крупнейших библиотеках нет переводов этих авторов даже на английский. А чаще всего философские произведения западных философов и их рефераты трудно получить даже в читальном зале. Каталог ИНИОНа — любопытное зрелище! Непонятно, кому могут понадобиться Сартр и Камю на французском, кроме жалкой горстки еще не утративших надежду и желание приобщиться.

Я, лингвист по образованию, постоянно ощущаю недостаток и ущербность своих философских знаний. К пониманию необходимости, важности, осмысленности и беспредельности философии пришла только в аспирантуре. Это роковое опоздание помешало мне написать по-настоящему хорошее исследование.

Глубоко благодарна редакции за публикацию столь важной, необходимой, своевременной, просто насущной статьи».

М. Дмитровская, г. Астрахань.

«Вы, граждане-философы, ратуете за свободу мысли в курсе философии. Но о чем говорить, когда не о чем говорить? Им, молодым, двадцатилетним, только что начавшим жить, о чем спорить на занятиях по философии? О чем спорить, если не о ценах на джинсы и о превратностях моды?»

В. Сазонов, г. Горький.

«Ребята! Все в точку, только больно длинно. Хотите покороче? У меня, правда, стишок. «Человечек впечатлительный» называется.

Я обижен, я в печали,
все считают, что я глуп.
А я не глуп!
Летом я ношу сандальи,
а зимой ношу тулуп.
Я не глуп!
Я ношу сандальи летом,
и горжусь поэтом Фетом,
и грозу в начале мая
всей душой воспринимаю.
А зимой ношу тулуп.
Кто же скажет, что я глуп?
Знаю правила движенья
И таблицу умноженья.
Я не глуп, не глуп, не глуп!
Просто вкручен от рожденья
в мою голову шуруп».

В. Друк, естествоиспытатель, г. Москва.

От авторов статьи «Философия в повелительном наклонении»

Как-то — в годы позднего расцвета «эпохи застоя» — на кафедре философии ИПК одного нашего уважаемого университета состоялся примечательный диалог между повышаемыми в квалификации преподавателями философии и их наставником по научному коммунизму. «Ученики» стали приставать к «учителю» с вопросом касательно международной политики — из числа тех, кои в обществе «Знание» именовали «провокационными». Тот хитро и изобретательно увертывался. Наконец, «лобовая атака» не оставила ему пространства для маневра: «Вы понимаете, товарищи, сверху по этому поводу еще не спустили нам установки. Вот спустят — мы ее теоретически обоснуем, и тогда буду рад доложить вам...»

Подобные теоретики обоснования спущенных сверху незыблемых истин — митинско-лысенковские чудеса сталинской генетики — не вымерли с окончанием эры своего безраздельного господства на земле, под водой и в воздухе. Вчера они обосновывали азбучные истины застоя, сегодня — перестройки. Интересно, какие основы сочтут они нерушимыми завтра?

Они не ощущают за собой ровным счетом никакой вины за «ослепление отчизны». Они опять на коне! Только осознание **способа их существования** в порах нашего «духовного производства» дает возможность обнаружить если не иглу их бессмертия, то хотя бы яйцо, в котором она сокрыта. Это начальственная философия единого пути, согласно которой все должны, выстроившись по росту и званию, маршировать в ногу с Тем, Кто Идет Первым. Увеличен, уменьшен шаг, сменена нога — всё наши обосновали встречают истошным ревом фанфар. «Гром победы раздавайся!»

Такая философия весьма удобна, ибо снимает всякий вопрос об индивидуальной совести, об ответственности за происходящее.

Свою задачу она видит в толковании и перетолковании некоторого сакрального текста, в разъяснении его сокрытого от непосвященных смысла «широким массам», лишенным способности самостоятельно разобраться в подлинных «первых причинах и началах» своего жизненного мира. До тех пор, пока находит сочувствие деление людей на тех, кто уже набил карманы истиной, и тех, кто не то что карманами, даже униформой надлежащей не обзавелся,— до тех пор будет иметь хождение и авторитарное жизнестроительство дровосеков 30-х, видящих на месте человека систему функций и приводов, а на месте общественной жизни — пульт, усыпанный кнопками и рычагами.

Наилучшим образом это мировоззрение сохранилось в учебной философии, регламентирующей сам процесс мышления — как преподавателей, так и студентов — через мертворожденное единообразие программы. Усечение философии до дидактической функции вульгаризирует философские исследования, парализует издательское дело. Лишь по цитатам узнается в «составленном из одного мощного чувства целесообразности» курсе марксистско-ленинской философии некогда живой дух исканий Маркса и Ленина. «И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова...»

Из этого «абортария мысли» всепроникающая радиация тотального неуважения к человеческой личности распространяется на все пространство духовной жизни. Как это и случилось в «эпоху застоя», место общественной науки занимает штампование «единственно верных идей», а место свободной художественной фантазии — «Быстроупак» этих догматов в лозунги, картины, стихи, пьесы, песни...

Быстрее дрозофил начинают множиться те, кто «лепит фильмы о счастливом быте, варит статьи о прямых дорогах», кому «прикажешь — и акушером станет».

Конечно, главные пружины такого отношения сознания к бытию сокрыты в самом бытии. Однако мы видим и обратное — какой грозной силой является консервативное сознание, «не только отражающее, но и творящее окружающий мир». Будем надеяться, что разговор о причинах такого положения людей и вещей еще состоится, в том числе и на страницах «Юности» (такое пожелание имеется во многих читательских письмах). Пока же философы, наученные горьким опытом минувших десятилетий, копают могилы былого чрезвычайно осторожно. При столь авторитарном способе трансляции философских знаний иного от них ждать не приходится.

Как подготовка наших философов, так и их преподавательская и научная деятельность требуют коренных перемен, а не того косметического ремонта, какой выдается сегодня за перестройку обществознания. Философское образование очень нуждается в «педагогике сотрудничества», в материальных и организационных предпосылках для диалога равных. «Краткий курс» тоже клеймил «буквоедов и начетчиков», тоже призывал не рассматривать марксистско-ленинскую теорию как собрание догматов. Дело, стало быть, не в призывах, а в создании для всех и каждого действительного права на ДУХОВНУЮ АВТОНОМИЮ, на возможность осуществлять восхождение к вершинам человеческого духа в мире без повелительных наклонений, высших величин, запретных тем и секретных зон.

Авторы некоторых писем обрушиваются на употребленное нами слово ДУША. «Лично мне известно... что такое «интеллект», «чувства», «интуиция», «бессознательное», но что такое «душа» как научное понятие — нет»,— гневается один из них (кстати, зав. кафедрой истории КПСС и философии). Да, миру рычагов, приводов и передаточных звеньев «душа» не надобна. Но она надобна другому миру, тому, где выстрадана и идет революция, где ненавистнее всего духовное рабство, а выше всего ценится ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА. Свобода, переплавленная в мысль, и есть философия.

М. Маяцкий, Э. Надточий

Кто поедет в Гори

Ваше мнение?

На пустыре, за «Универсамом», они распалили небольшой костер и устроили аутодафе. Пирамида журнальных книжек прогорала плохо. Лука занервничал, стал вытаскивать из костра по одному экземпляру. Разрывал каждый на части и снова швырял в огонь. Педро, зажав между носом и губой пучок полыни, танцевал вокруг костра «лезгинку» и что-то весело кричал в темное беззвездное небо...

Мой бывший одноклассник Димка, который и затащил меня сюда, спросил:

— Крутой Лука, а?

Я промолчал, меня ошеломила эта вакханалия...

...Данная организация малочисленна (пока, замечает Лука, пока. Но скоро нас будет больше, и ты увидишь, какой мы будем силой!) У нее нет названия. «Орлята Сталина», предложенное маленьким шустрым Педро (у них у всех здесь «подпольные» клички), не прижилось. «Не пионерская организация»,— сказал Лука и усмехнулся.

Кроме Луки, Педро и Димки, которого здесь все зовут Хароном, есть еще одна девчонка Сюита и бывший хиппи с женским именем Роза. На хиппи он сейчас похож мало. Полубокс, строгий, из простой ткани костюм, галстук, комсомольский значок и надраенные до блеска ботинки. Впрочем, это их общая униформа. Сюита, естественно, в другом: коса, темная, заштопанная в нескольких местах юбка ниже колен, серая кофточка.

Обычно они собираются в гараже у Луки. Там монастырская тишина, голые стены, а в углу — небольшой портрет Вождя (Роза предлагал поставить под ним свечку, но большинством голосов отклонили).

Роза — вообще странный тип. Я спросил его в первые дни знакомства (только пошел мой «испытательный срок»):

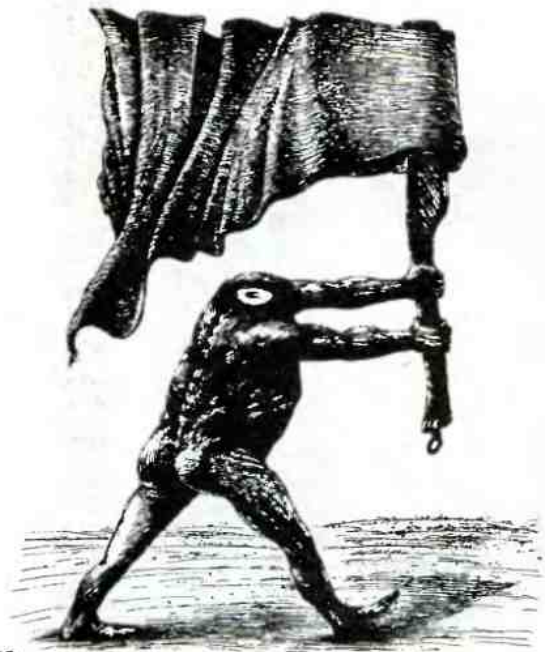
— Тебе что от всего этого нужно?

Бывший хиппи надолго задумался, а потом ответил:

— Знаешь, я когда тусовался со своими, ну тогда... такие мысли в голову приходили... Вешаться хотелось. Я устал от самого себя. Мне нужна твердая вера. Пусть лучше мной руководят, командуют, что угодно. Я, наверное, вообще не способен соображать. У меня все мозги вкривь и вкось. Плохо, что они не хотят поверить в него, как в бога. Тут у нас единства нет.

— А как ты относишься к массовым репрессиям при Сталине?

Роза пожимает плечами.



— Ведь аллах, к примеру, обязует карать неверных. Я же говорю: для меня это религия. Как я могу осуждать Бога?

Роза преувеличивает насчет своих разногласий с друзьями. У них во многом есть единство. Недавно Лука, он и «маленький Педро» избили какого-то студента из университета. Они узнали, что тот ведет списки жертв...

«Подпольщики» собираются почти каждый день. Работы хватает. Здесь же, в гараже, штампуют фото Вождя, пишут письма-протесты в газеты и журналы, где появляются статьи, «марающие» святое для них имя. По двое (Сюита освобождена) дежурят на демонстрациях «Покаяния». Не на всех, конечно, сеансах. На тех, где больше народу,— на вечерних. Неприлично громко смеются, свистят, хлопая сиденьями, с криками, минут за десять до окончания фильма выходят из зала.

— У меня это «Покаяние»,— признается улыбчивый Педро,— во где... Мне там только одна сцена нравится. Ну, когда жена этого Авеля голая подходит к окну. Только ты не говори об этом нашим, хорошо?

Да, с «этим» в организации строго. К тому же не ругаются, ведут более-менее здоровый образ жизни. Хотя иногда позволяют себе выкурить одну-две папиросы «Герцеговина Флор», выпить по стаканчику настоящего грузинского вина (достали с трудом). Но это только по праздникам и в день рождения Вождя.

Педро здесь самый младший, учится в девятом классе и, естественно, у всех на побегушках. Он, как я понял, из тех, кому все равно, что делать и во что верить. Лишь бы чувствовалась сильная поддержка за спиной.

А Лука эту поддержку обеспечивает. Он разрядник по боксу, студент-второкурсник. Лука — фигура сложная. Он фанатик. Но он все знает про своего Вождя. Временами, когда Лука рассказывает, со всеми мельчайшими подробностями, о том или ином «черном» факте, мне даже кажется, что ему известно то, что не известно никому,— точная цифра жертв.

Его дед в свое время служил конвойным в одном из лагерей. Лука говорит, что, по словам деда, ни один из заключенных не сидел там зря. Это линия Луки. Этим — ни один зря! — он оправдывает все, что случилось в тридцатых.

Лука не признает никаких альтернатив курсу, выработанному Сталиным в те годы. «Все другое привело бы к разболтанности и расшатанности,— вещает Лука.— Мы проиграли бы еще в двадцатых. Нас бы съел нэпман. А угроза фашизма? И сейчас только один выход — «твердая власть». Это единственное, что может спасти страну!»

С Лукой невозможно спорить. Он ничего не хочет слушать. Я как-то попытался ему возразить, напомнив о голоде тридцать третьего. Тогда Димка еле сдержал его...

Димка-Харон здесь единственный более-менее «нормальный». «Понимаешь,— объясняет он мне,— я здесь случайно. Так просто, интересно. Я хочу разобраться во всем сам, понимаешь? То, что пишут о том времени в журналах и газетах, настолько противоречиво...»

Харон настойчиво конспектирует в общую тетрадь «Вопросы ленинизма» и этим вызывает неподдельное уважение у Луки.

Раз в неделю Димка делает доклад по этой книге. Кто с большим, кто с меньшим усердием — они все самообразовываются.

Сюита за время моего двухнедельного «испытательного срока» появлялась в гараже редко. Она была красивая девочка, даже в своем убогом одеянии. Я ее как-то все-таки спросил: «Тебя-то что здесь привлекает? Приятно ходить в этом отрепье?» Сюита покраснела и ничего не сказала в ответ. Харон потом по секрету мне объяснил. Оказывается, у Сюиты было скандальное и разгульное прошлое, она с трудом «завязала» и теперь ходит в гараж, как в храм. Здесь она союзница Розы, кстати, в истории со свечкой она единственная воздержалась...

На исходе второй недели Лука, видимо, посчитав, что пора приобщать новенького к «делу», спросил меня:

— Ты, конечно, записан в свою институтскую библиотеку?

— Конечно,— ответил я.

— Надо взять оттуда «Дружбу народов» с «Детьми Арбата» и «потерять».

— В каком смысле?

— В переносном. Отдашь журналы нам,— пояснил Лука и усмехнулся,— ты же видел, как они хорошо горят, эти книжки.

— Ничего подобного я делать не буду,— ответил я.

Лука поразился.

— Может, ты и в Гори на юбилей Вождя в следующем году не поедешь?

— Не поеду.

— У нас в организации железная дисциплина! — побагровев, закричал Лука.— А ты с первых дней... Может, ты вообще не желаешь быть с нами?

— Не желаю.

Александр МАЛЮГИН

Урок рок-музыки

Легко ли быть звездой?

Программу «Взгляд» я смотрю довольно-таки часто. В тот же знаменательный день замоталась с делами, и не до передач было. Тишину разорвал телефонный звонок: «У тебя не включен телевизор? — прошептали в возмущении.— Там же «Нау» показывают». Через полсекунды мой «Рубин» заработал, и я успела услышать: «Круговая порука мажет как копоть...» — рок-группа «Наутилус Помпилиус» пела одну из своих знаменитых композиций — «Скованные одной цепью».

Те, кто интересуется роком и имеет своевременную информацию о рок-концертах, могли видеть «Наутилус Помпилиус» на фестивалях «Литуаника-87», в Черноголовке или Подольске, на отдельных выступлениях в домах культуры. Письма, приходящие в рубрику «20-я комната», свидетельствуют, что свердловский «Наутилус Помпилиус» — один из лидеров в сегодняшней отечественной рок-музыке. А это очень многое значит. Ну, например, то, что все три компонента рок-композиций — музыка плюс текст плюс шоу на сцене должны каждый по отдельности и все вместе отвечать не только эстетическим, но и высоким социальным, гражданским требованиям.

Описывать музыку и сценическое действие словами — дело бесполезное, скажу лишь, что музыкальный стиль «Наутилуса Помпилиуса» вызывает у меня ассоциации с графикой — своей сдержанной строгостью, четкостью. Внешне аскетичная музыка тем не менее несет в себе огромный заряд энергии, и статичность поведения на сцене лишь подчеркивает, высвечивает этот потенциал.

Когда представилась возможность интервью с этой группой, мы, авторы материала, подумали вот что: сколько уже писалось в нашей прессе о роке (начиная с пресловутого «Рагу из синей птицы»), но до сих пор никто почему-то не задумался, чем является рок для людей, которые профессионально (не в смысле зарплаты, а в смысле мастерства) им занимаются. Что для них рок — позиция, образ мыслей, способ жить?.. И тогда мы решили поговорить об этом с ИЛЬЕЙ КОРМИЛЬЦЕВЫМ — автором текстов большинства композиций «Наутилуса Помпилиуса»...

— «Наутилус Помпилиус» стал, по результатам опроса, проведенного редакцией газеты «Московский комсомолец», открытием года в области рок-музыки. Оглядываясь на пройденный путь, какие, на ваш взгляд, проблемы стоят перед рок-музыкой вообще, и рок-группой «Наутилус Помпилиус» в частности?

И. К.: Популярность наша кажущаяся, она как есть, так и может пройти, в зависимости от дальнейших шагов группы, репертуара, от того, где и как она будет выступать. Популярность эта авансированная и анонсированная, то есть создана она не публикой, в широком понимании этого слова, а определенной группой людей, увлекающейся рок-музыкой.

Какие задачи стоят сейчас перед нами? Это прежде всего найти возможность в условиях наших растрепанных, бестолково организованных концертов и хозяйственно-экономических условий существовать, то есть работать с нормальным творческим потенциалом, жить с нормальным бытом.

— Композиции «Наутилуса Помпилиуса» отличает суровый трагизм, мы назвали это так: «Жестокий рок». В музыке и словах находят отражение ваши жизненные принципы, ваше мировоззрение?

И. К.: Я исторический стоик, как я это называю. Моя позиция: можно быть хорошим, светлым, можно чего-то добиться, можно кого-то победить, но в целом история человеческая, даже не в рамках больших масштабов, а каждого индивидуального человека, семьи, города,— это довольно горькая повесть. В нашей музыке просвечивает горький альтруизм...

— Композиция «Скованные одной цепью». Что это за цепь, как ее разбивать, и стоит ли это делать, если цель у нас и вчера и сегодня остается прежней?

И. К. : Начнем с того, что прежде всего это композиция о сегодняшнем дне, который отличается от вчерашнего большим сознанием того, что каким-то переменам в нашей жизни мешают факторы не столько внешние, сколько внутренние. Здесь речь идет скорее не о том, что кого-то заковали, а вот о таком своеобразном «братстве поневоле» между теми, кто находится с одного конца этой цепи, и теми, кто стоит на другом.

Сегодня меньше иллюзий, связанных с тем, что есть якобы конкретная «зловредная» прослойка, которую достаточно устранить для того, чтобы все пошло так, как надо. Становится очевидным, что нас не спасут ни прекрасные слова, ни даже новые законы, сами по себе, если общество не созреет для их исполнения.

— Фильмы «Взломщик» и «Асса». Насколько образ рокера отражен в этих картинах?

И. К.: «Ассу» я не смотрел, к сожалению. «Взломщик»... Очень многие из рок-музыкантов недовольны этим фильмом, потому что они себя хотят видеть красивей, чем есть на самом деле; обвиняют кинематографистов в интересе к «жареной» теме, в желании заработать популярность, кассовый сбор и прочее. Но мне кажется, что кинематографисты понимают тот материал, над которым работают, хотя, по мнению недовольных рокеров, они его опошливают, объективно играют на руку врагам рок-музыки и т. д.

Все это ерунда, все там показано достаточно правдиво. В рок-музыке, кроме людей, которые знают, что надо делать, обладающих определенным творческим потенциалом, 90 процентов составляют «тусовщики» — люди, лишенные моральных принципов, элементарной культуры, нормального образования. Это всегда характерно для любого нового культурного течения, и я считаю, что отрицать этот факт совершенно бессмысленно.

Интервью закончилось. Мы успели обсудить массу «технических» вопросов: какое количество людей готовит выступление «Наутилуса Помпилиуса», с какого времени группа работает в таком составе, когда и почему появилось такое необычное название и так далее... И уже в конце разговора, перегруженные всевозможными цифрами, датами и фактами, мы поняли, что, конечно, можно было бы напечатать дискографию группы (а записано, кстати, четыре магнитофонных «альбома»), или подробный экскурс в немузыкальное прошлое участников, но... Делать этого не стоит. Вытащите на свет свой старый магнитофон, поставьте кассету с записью «Наутилуса...» и решите сами, так ли это просто — сочинять песни.

Вероника МАРЧЕНКО,
Юрий ЩЕГОЛЬКОВ.

В феврале 1988 года мы прощались с АЛЕКСАНДРОМ БАШЛАЧЕВЫМ.

Журналист, выпускник Уральского университета, поэт, он предпочел журналистской карьере трудную, опасную и свободную жизнь бродячего певца: «...из города в город, из дома в дом, по квартирам чужих друзей...» Создал за эти считанные годы около шестидесяти песен, хотя некоторые — «Ванюша», «Егор Ермолаевич» — и песнями-то не назовешь, скорее это былины: каждая из «больших» вещей Башлачева содержит в себе целый мир, целую философию, подобно эпическим поэмам древности.

СУДЬБА СКОМОРОХА

Несколько лет тому назад меня разбудил утренний телефонный звонок. Глуховатый, чуть смущенный голос... Чувствую, волнуется очень. «Не могли бы вы послушать мои песни...» Я решился на встречу и благодарен судьбе за это решение.

«Здравствуйте, я Башлачев,— чуть помедлив, добавил: — Александр...» Простое, открытое лицо, помесь мастерового с Леонардо, зуб металлический торчит как-то некстати; достал из немыслимо замусоленного чехла гитару а-ля «полный нестрой», схватил ее за горло (писк, треск, негубименядобрыймолодецятебеещепригожусь) и закричал...

Как будто свежий российский ветер вдруг заполнил всю мою антикварную кухню. Помню, говорил себе: вроде не играет, не поет, половину слов глотает, почему же мне так радостно и горько на душе, почему сопереживаю я тому, что вижу и слышу? Захотелось немедля сказать ему что-то очень хорошее, доброе, но сдержался, решил: все, что споет, выслушаю, вытяну из него все, что смогу, заставлю раскрыться полностью, истощу, черт его дери...

«Чай-то наш остыл небось...» Стоп, подумал я, это уже не песня. Вот так заговорил, запел меня во время нашей первой и последней встречи прекрасный русский поэт Александр Башлачев...

Какие-то вялые мухи ползали по столу. Мы выпили немного; лимон... Потом я взял свою гитару, он свою; запели из «Битлз», невпопад подстраивая двуголосие...

Что я сказал ему перед расставанием? Кажется, звоните, дескать, чем могу — помогу, бред какой-то нес — что я мог тогда?

Он не позвонил...

Потом часто слышал его записи, перечитывал стихи, что он подарил мне, замечательные стихи, удалые, скоморошьи — бесшабашные (уж не потому ли полюбил я их сразу и навсегда), вдруг какие-то резкие, непримиримые, но всегда искренние, с невероятной болью и трагизмом.

Трагизмом...

Я понял сразу, почему он выбросился в окно. Это беспроигрышный вариант. Головою вперед: вроде он вниз упал, а мне все видится другое — полет в небеса, резко запрокинуто его лицо, волосы развеваются, руки распростерты, глаза устремлены в неведомое...

Это будет первое напечатанное в «Юности» стихотворение поэта Башлачева.

Александр ГРАДСКИЙ

ВРЕМЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ (1984)

Долго шли зноем и морозами.
Все снесли и остались вольными.
Жрали снег с кашею березовой
И росли вровень с колокольнями.

Если плач — не жалели соли мы.
Если пир — сахарного пряника.
Звонари черными мозолями
Рвали нерв медного динамика.

Но с каждым днем времена меняются.
Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.

Что ж теперь, ходим круг-да-около
На своем поле, как подпольщики?
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь время колокольчиков.

Зазвенит сердце под рубашкою.
Второпях врассыпную вороны.
Эй, выводи коренных с пристяжкою
И рванем на четыре стороны.

Но сколько лет лошади не кованы,
Ни одно колесо не мазано,
Плетки нет. Седла разворованы,
И давно все узлы развязаны.

А на дожде — все дороги радугой.
Быть беде. Нынче нам до смеха ли?
Но если есть колокольчик под дугой,
Значит, все. Заряжай, поехали!

Загремим, засвистим, защелкаем.
Проберет до костей, до кончиков.
Эй, братва, чуете печенками
Грозный смех русских колокольчиков?

Век жуем матюги с молитвами
Век живем хоть шары-нам-выколи.
Спим да пьем сутками и литрами.
Не поем. Петь уже отвыкли.

Ждали. Ждем. Все ходили грязные.
Оттого сделались похожие.
А под дождем оказались разные.
Большинство — честные, хорошие.

И пусть разбит батюшка Царь-колокол,
Мы пришли с черными гитарами,
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.

И в груди — искры электричества.
Шапки в снег. И рвание звонче-ка.
Рок-н-ролл — славное язычество.
Я люблю время колокольчиков.

Виктор КОРКИЯ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Поэма

— Что станется в пространстве с топором? **Quelle idée!** Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все.
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы».

Перебираю прошлое в уме.
Читаю, но не вижу в этом смысла.
Один и тот же день меняет числа,
и лето приближается к зиме,
минуя осень...
Мимо, мимо, мимо!..
Как снег, мерцает битое стекло.
И прошлое уже необозримо,
и кажется, от сердца отлегло...

Чем дальше, тем прелестней суета.
Мельканье лиц, чужих и непохожих,
прохожие бегут среди прохожих,
спешат занять свободные места
в автобусах и театральных ложах,
на кладбищах...
Святая простота
на детских ликах и на пьяных рожах!..

И чудище стозевного метро
пар выдыхает — вздохи всех влюбленных
поверх отцов семейств и разведенных
к Всевышнему летят, как бес в ребро.

Катками утрамбована дорога.
Красавец-Йог выгуливает дога.
Юродивых не стало на Руси.
Тяжелый русский рок грохочет в ухо.
С протянутой рукой стоит старуха,
и грязью обдают ее такси.

Мы в двух шагах — и вечность между нами.
На Красной Пресне шины шелестят.
И спецмашины с красными крестами*
на красный свет в Галактике летят.

Всевышний Космонавт вниз головой
в бесцветном телевизоре всплывает
и мирно Человечеству кивает —
один за всех — из бездны мировой.

Светла его улыбка неземная,
но взгляд, вооруженный до зубов,
в упор меня не видит, обнимая
весь этот мир голодных и рабов.
Астральное физическое тело,
из пустоты он смотрит сквозь меня —
и я не человек, и нет мне дела
до правды жизни и до злобы дня.

Я —
лишь одна из квинтэссенций праха,
я невесомей, может быть, чем прах.
Агенты Государственного Страха
охотятся за мной в иных мирах.
Но и посмертно я не застрахован,
однако для всевидящих небес
я глух и нем, как Людвиг ван Бетховен,
и как никто приветствую прогресс!..

Но я далек от простоты святой
и у Христа за пазухой не млею —
смешно и скучно флиртовать с судьбой,
когда нет сил возвыситься над нею.
Я за себя уже не поручусь.
Слежу за переменами погоды,
записываюсь в очередь, учусь
не замечать, на что уходят годы...

Живые деньги, мертвые слова,
пустых витрин полярное сиянье,
минуя осень, падает листва,
бегом, бегом — и кру́гом голова,
и некогда уже качать права
и утверждаться через отрицанье!..

А сын Земли, любимый небесами,
намного выше низменных страстей,
и плачет настоящими слезами
мать-героиня всех его детей!..
И рядом он же на другом экране,
в другой витрине и за полцены —
в Орле, Новосибирске, Магадане,
и музыка в соседнем ресторане —
гудят Отчизны верные сыны!..

Экран старуха крестит через силу
и сквозь меня бросает мутный взгляд.
Уходит в ночь, в метро, в народ, в могилу,
сквозь дождь и снег, бензин и термояд.
Идет на фронт, на стройки пятилетки,
на смертный бой, на подвиг трудовой,
не к сыну-забулдыге, не к соседке —
на красный свет, на голос роковой:

«Народы мира!
Главное — здоровье.
Покой и воля. Если счастья нет.
Но счастье есть! Все больше поголовье
рогатого скота...»

Ей триста лет.
Или хотя бы 80. Или...
Ей все равно. Она уже в раю.
Всевышний Космонавт, над ней не ты ли
паришь у мрачной бездны на краю?..

Внимание!
Любовь имеет место.
С родной земли в подземный переход
спускается прекрасная невеста.
Плохой грузин цветы ей продает.
Она мурлычет песенку протеста.
И сумочка в руках ее порхает,
и сквозь меня плывут ее глаза,
и нервная система отдыхает,
и влагу выделяет железа...

Ты, трепетная, ты проходишь мимо —
и снег цветет и вянет на лету...
Грядущее уже необратимо.
Не падай духом, глядя в пустоту!..

Мы в двух шагах — и космос между нами.
Спеши, дитя косметики, спеши!
Дай лицезреть твой лик в универсаме,
в кафе вечернем, где едят глазами,
в кошмарном сне, где больше — ни души...

* Как поет М. Володина.

Спеши любить!
Бледна, как смерть-старуха,
проходит жизнь с авоськой умных книг,
и в испареньях мирового духа
шумит камыш, как мыслящий тростник.
Не бойся и не спрашивай:
что делать?
Метут метели, и цветут цветы.
Парад планет начнется ровно в девять.
Командовать парадом будешь ты!

Сама невинность, в свадебном наряде,
во всей своей немыслимой красе,
ты рождена блистать на том параде,
откуда возвращаются не все.
Тебе навстречу в призрачное Завтра
бредут старухи по святой Руси,
и тридцать три героя-космонавта
выходят из маршрутного такси.
Тебе шофер распахивает дверцу,
и весь в цветах служебный лимузин,
и, прижимая деньги ближе к сердцу,
краснеет от стыда плохой грузин...

Убийственно веселые картинки!
И смех, и грех, и слезы лить не смей!..
Мне одиноко на Центральном рынке,
на черном рынке юности моей...

Во времени, свободном до предела,
я в пустоте последний кайф ловлю —
и музыка гремит, и нет мне дела,
что ты меня не любишь...
Я — люблю!

Мне все равно, кого ты ждешь в толпе,
кому из телефона-автомата
звонишь, звонишь, не зная, что в тебе —
могила Неизвестного Солдата.
Он жив еще. И взгляд его хитер.
Но все вокруг он видит, как в тумане.
Чуть что — он прыгнет в бронетранспортер:
сегодня здесь, а завтра где — в Афгане?..
Еще ни разу в жизни не убив,
мы оба, но по-разному живые...
Открытый космос и тотальный миф
лицом к лицу столкнули нас впервые...

Ты, трепетная, плачешь?.. Дай мне руку.
Я пережил себя. Мне сорок лет.
Ученая! Забудь свою науку.
Ни близких, ни далеких больше нет!
Ты одинока?.. Мы близки по сути.
Мы далеки до жути... Все равно!

Товарищи! Мы все уже не люди!
Мы все уже товарищи давно!..

Во времени, свободном до предела,
и, несомненно, в лучшем из миров,
где бренное космическое тело
сгущается из водяных паров...

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

где, судя по газетам, вор на воре,
где пол-Москвы разрушил Моспроект,
я проиграл в естественном отборе,
но я еще не умер как субъект!

Ты, трепетная, это понимаешь?
Да или нет — неважно!..
Ангел мой!
Мне все равно, кого ты обнимаешь,
куда идешь — к нему или домой!..
В своем уме свои считая годы,
смотрю вослед... И шины шелестят!..
Я принимаю твой парад, как роды,—
и пусть меня потомки не простят
и не поймут великие народы!..
Я тоже понимаю не всегда
их вечно грандиозные задачи.
Я человек — и не могу иначе!
На том стою... Но ты не скажешь «да»...

Ты движешься по собственной орбите,
ты замираешь в сладком полусне,
ты растворишься в муже, в детях, в быте —
по случаю, по счастью, по весне.
Ты разведешься с мужем, и другие
оставят за собой кровавый след
бездушной сторублевой хирургии —
и раз, и два... И ты не скажешь «нет»...

Но это не сейчас еще — в запасе
есть время — и свободное вполне —
и, трепетная, юная, в экстазе
ты светишься, как истина в вине!

И пусть тебя заочно осуждают
Мать-Героиня и Красавец-Йог.
Товарищи! Свобода возбуждает —
и очень возбуждает, видит Бог!..
Все по́боку — Госстрах и узы брака,
и Профсоюзмультфильм, и Вторчермет!
Что может быть прекрасней — в царстве мрака
бестрепетно шагнуть на красный свет!..

Как долго исчезает за углом!..
Все кончено... Во времени свободном
я окружен бетоном и стеклом
и загрязненным воздухом холодным...

Успехов! Миллиарды поцелуев!..
Машина в парк. Работай, шеф! Дави!
Куда угодно — в Теплый Стан, в Чугуев!..
Держи на лапу, душу не трави!
Железный рубль за мной не заржавеет.
Бумажных денег куры не клюют.
По всей стране весенний ветер веет.
Ключи от счастья роботы куют!..

Никто, ничто, не лишний и не третий,
не на войне, не в классовой борьбе —
я исчезаю в памяти столетий,
в природе, в человечестве, в себе.
Я растворяюсь в сумерках, в эфире,
в бездействии, в химчистке за углом,
в борцах за трезвость, в плесенной сатире,
в толпе фанатов, прущих напролом!..
Я распадаюсь на свои запчасти
и превращаюсь в собственную тень.
Я испаряюсь в коридорах власти,
диктующей, какой сегодня день...

...Как приговор, звучит прогноз погоды.
Старуха спит в метро и видит сны,
как в полночь Прогрессивные Народы
сжигают Поджигателей Войны.
Уже на их зловещие фигуры
плеснул бензином инвалид-вахтер,
и 20 килограмм макулатуры
она бросает в праведный костер.
И член-корреспондент газеты «Правда»
питает к ней взаимный интерес,
и тридцать три героя-космонавта
кивают ей, как ангелы, с небес.
Весь мир ликует у бензоколонки,
в слезах от счастья негры бьют в набат,
и русский витязь в импортной дубленке
в такси ее отвозит на Арбат.

И все равно, что где-то там, в зените,
куда не достигает смертный взор,
летает по неведомой орбите
Раскольникова каменный топор...

И 300 000 кладбищ с мертвецами
В Галактике летят на красный свет.
Что между нами? Мафия? Цунами?
Оранжевые ливни во Вьетнаме?
Христос-Спаситель? Кришна? Магомет?
Майкл Джексон? Аэробика? Иуда?
Любовь неразделенная — к себе?
Госсамиздат? Фальшивки Голливуда?
Компьютеры? Масоны? И т. п.?..

В плену религиозного дурмана
Юродивый целует Красный Крест,
и три перековавшихся душмана
летят в Москву на ярмарку невест.

В правительственной ложе стадиона
Всевышний Космонавт, Старуха, Дог,
в нирване, на гвоздях — Красавец-Йог,
над ложей — чудотворная икона:
Мать-Героиня и ее Дитя,
играющее знаком интеграла.
А на трибунах — Автор, то есть Я.
Короче, мы. Нас много или мало.
Нас тысяч сто. Или хотя бы двести.
А может быть, и триста — не считал.
И о Прекрасной Даме, о Невесте
я никогда в газетах не читал.

Но на моих глазах сгорела Троя,
и «Челленджер» взорвался надо мной,
и тридцать три мифических героя
ушли, как говорится, в мир иной.
И эта сказка стала черной былью!..
Исчерпан век — и я всегда готов!..
Под радиоактивной снежной пылью
лежит Генералиссимус Цветов.
В подземном переходе надпись:

«ЗОНА».

С протянутой рукой стоит Госстрах.
И тридцать три Служителя Закона
рыдают на ответственных постах.
А на периферии мирозданья,
где, что ни день, какой-нибудь бардак,
по зову сердца и самосознанья
Публичный Дом пылает, как Рейхстаг!..

Красавец-Йог выходит из нирваны.
«Товарищи,— кричит,— душа горит!..»
И слышат фешенебельные страны,
о чем звезда с звездою говорит.
И слышат эскимосы и эфруски,
Госагропром и Минхромоотвод.
А так как разговор идет по-русски,
для тех, кто не умеет без закуски,
даю литературный перевод:

«Не нам ли политические трупы
заткнули рот селедкой иваси,
когда мы были молоды и глупы
и водкой заглушали Би-Би-Си!..
Теперь шабаш!.. Теперь не время бо́но.
Теперь мы знаем вкус одеколона
и от любви пьянеем без вина!..»

Офелия! Джульетта! Дездемона!..
Какие роковые имена!
Какие допотопные примеры!

Стирает время времени следы.
На лоне окружающей среды
прогуливаются пенсионеры.
К ним льнут собаки. Где красавец-дог?
Он бросил Йога, тот опять в нирване.
И русский рок, тяжелый русский рок,
как реквием, гремит в Афганистане.

Где Моцарт и Сальери?
Где они?
Где гений и злодейство? Все исчезло.
Остались К*** и Х***.
И гинекологическое кресло.

Народы мира, пламенный привет!
Овидий, оцени метаморфозы.
Как хороши, как свежи были розы!..
Где братья Карамазовы? Их нет.
Ни Дмитрия с Иваном, ни Алеши.
А вместо них три протокольных рожи
вещают, что не отдали б Москвы,
когда б их не споили с детства —
кто же? —
Жиды? Высоцкий? Рокеры с Невы?..
Смешно и скучно. И мороз по коже.
И жутко — до чего на Русь похоже!..
Святая простота!.. Увы, увы!..

...Так экстрасенс без племени, без роду,
еще не впавший в старческий маразм,
испытывая мертвую природу,
испытывает веру и оргазм.

Но веры нет — и нет уже давно,
и не один я это понимаю.
Несчастную старуху вспоминаю
и вижу стены, потолок, окно...

Что между нами? — Ничего святого.
Абстрактный гуманизм — и вся любовь!..

Счастливейший из смертных просит слова —
и ты, Редактор, мне не прекословь!
Никто, ничто, а все-таки порой
из Царского Села заглянет Муза —
я как-никак Лирический Герой
и как-никак Советского Союза!..

А посему — играю днем с огнем.
А к ночи — не раздевшись, как убитый,
лицом в тахту — забудусь мертвым сном
и в шесть проснусь — зеленый, злой, небритый...
Там, за окном, светает осторожно,
а ты не спи, лежи, не спи, лежи,
ты сам не свой, и все, что невозможно,
становится ненужным для души...

Смотрю в заиндевевшее окно.
С кем ты сейчас, очей очаровашка?..
Мне все равно, ты Милка или Машка,
хотя, быть может, и не все равно...
Быть может, нас на свете только двое —
преодолевших страх, забывших стыд,
не верящих, что мир погубит СПИД,
и жаждущих любви на поле боя!..
А может быть... Неужто я один?..
А остальные — слепы? глухи? немы?..

Нарциссы, гиацинты, хризантемы,
пионы, гладиолусы, жасмин,
гвоздики, астры, флоксы, орхидеи...
Я никогда не продавал цветы.
А почему?..
Идея красоты —
смертельный враг любой другой идеи!..

Цвети, Минкульт!
Свети, Политпросвет!
Куда ни глянь — чернеет море крови.
И некого ловить на честном слове!..
Что делать? Сохранять иммунитет.

Я гибну, самому себе чужой,
и все-таки твержу, как заклинанье:
кто не торгует собственной душой,
не знает про ее существованье!

Добро взывает к Страшному Суду,
и добрый человек всегда подсуден.
Большой привет, А*** и Р***.
На что иду, не знаю. Но — иду.

Выходишь из себя в открытый космос
во времени, свободном и пустом,
теряешь голос, обретаешь голос
и говоришь — не то и не о том.
Имеет смысл и не имеет смысла.
Как битое стекло, мерцает снег.
Один и тот же день меняет числа,
и в человеке плачет человек.
Один за всех. Во времени свободном.

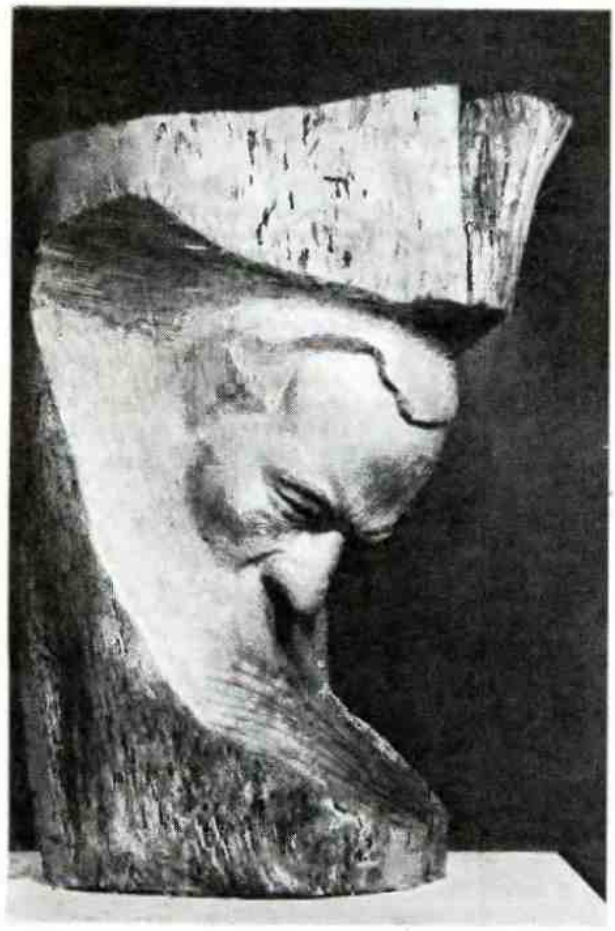
Не видя лиц, не слыша голосов,
в пространстве мертвом
телом инородным
душа летит на непонятный зов.

Живешь и умираешь.
Гром оваций.
Душа летит,
куда она летит —

одна

среди Объединенных Наций,
конвенций,
интервенций,
деклараций —
куда?..

Кто понимает — тот простит.



ПОДВИГ ПЛАТОНОВА

Андрей Платонов заявил о себе с первого своего шага, то есть до появления в столичной прессе. Первое из написанных им художественных произведений — никогда не включавшийся в сборники рассказик «Волчек». Второе — повествованьице «Волы» и третье — «Ерик». Они публиковались в воронежских газетах «Красная деревня» и «Воронежская коммуна» в октябре 20-го года и в январе 21-го.

Вот как начинается рассказ неопытного еще Платонова, ходившего в воронежские редакции под настоящей, отцовской фамилией — Климентов: «Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. На улицу выходили ворота и забор с подпорками. Тут я жил. Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык. Даже когда лезешь через забор, посидишь на нем секунду-две, оттуда видней видно поле, дорогу и еще что-то далекое темное, как тихий низкий туман. А потом рухнешься сразу на земь в лопухи и репейники...»

Обратите внимание на то, что ворота и калитка были на запоре как бы для того, чтобы герой повествования увидел окрестный мир, задерживаясь на пару секунд на высоком заборе. Ведь такая же картина, картина усвоения жизни, получается, кстати сказать, когда человек оказывается на дне социального существования, социальной лестницы, откуда видней и понятней срезы отношений...

Язык Платонова, язык его литературных произведений — новый, выплывающий из существующего книжного и разговорного языка и отличается от знакомого теперь блестящего языка набоковской прозы тем, что вмещает в себя почти ощутимую зрением и слухом скрытую в нем теплоту. Да он и состоит в основном из тепла, из разлившейся в нем энергии. По прежним понятиям, по привычному видению лицо человека никак не могло ассоциироваться с сельской местностью. А в прозе Платонова такая ассоциация закономерна. Она возникает из мастерски сотворенной вроде бы хаотической языковой вязи... Для ясности оговоримся: никакая волшебная проза не в состоянии отменить силу другой колдовской прозы.

Совершенно уверен, что писатель Платонов был счастливейшим в этом плане деятелем культуры, поскольку девяносто, а может, и девяносто девять процентов своих сочинений писал без висящего над ним меча, без подлаживания под чьи-то взгляды, без приспособления к начинающему набирать силу диктату...

Здесь мы подошли к активно употреблявшемуся в 30-е годы слову, направляемому острием своим чаще всего не в главный объект. Я говорю о термине ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ. Он вынырнул на поверхность во время «великого перелома» и «головокружения от успехов»... Детские мои уши слышали его чаще словца ПОДКУЛАЧНИК, превратившегося с годами в слово-ярлык. Им называли сельчан, сочувствовавших разоряемым и ликвидируемым производителям хлеба... А понятие «приспособленец» приклеивали к разного сорта люду, пытавшемуся не мытьем, так катаньем добиться того, чем пользовались начальство и его многослойное окружение.

Эпидемия приспособленчества, повальная болезнь минувших десятилетий, не поразила Андрея Платоновича Платонова. Чудесная его лира звучала с такой же чистотой в 30-е годы, за малым исключением, с какой появилась в 20-х годах на сцене литературы. И за это, за то, что хозяин ее, Платонов, следовал курсу великих своих предшественников, то есть НЕ ЛГАЛ, он поплатился главным: лучшая его вещь, роман «Чевенгур», равный, быть может, гоголевской поэме «Мертвые души», оказалась на столе читателя только в этом году, через шесть десятилетий после появления на свет божий!

Хочу еще сказать о верности Андрея Платоновича ранему своему приему — вкраплять в повествование особого свойства мысли. Так, в том же «Волчке» есть удивительной силы место; в нем говорится о беседе героя повествования — мальчика — со своим родителем про Бога, о котором никто ничего не знает, потому что, видимо, и узнавать-то нечего... Разговор оборвался по-платоновски тонко: «Отчего кругом томление и борьба? Вот мы прожили немного после революции, и уж увидали, как легко устроить всех сытыми и довольными, лишь бы осталась у нас ВЛАСТЬ НАС САМИХ...»

С воронежских своих лет по тяжелые годы в Москве, на Тверском, 25, Платонов боялся ОТКЛОНЕНИЯ от намеченной в 17-м году благостной, обещавшей свет линии.

Федот СУЧКОВ

На снимке: скульптурный портрет Андрея Платонова. *Автор — Федот Сучков.*

Андрей ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ

ВОЛЧЕК *

Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. На улицу выходили ворота и забор с подпорками.

Тут я жил. Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык. Даже когда лезешь через забор, посидишь на нем секунду-две, оттуда видней видно поле, дорогу и еще что-то далекое темное, как тихий низкий туман. А потом рухнешься сразу на земь в лопухи и репейники, и пойдешь себе.

Выйдет навстречу не спеша — знает, что это я — Волчек, поглядит кроткими человечьими глазами и подумает что-то.

Я тоже всегда долго глядел на него, в нем каждый раз было другое, чем утром.

Раз шел я по двору и увидал, что Волчек спит в траве. Я тихо подошел и стал. Рыжий Волчек чуть посапывал и ноздрями на земле выдувал чистоту. По шерсти у него пробиралась попова собака.

Кругом было тихое неяркое утро. Солнце приподнималось в теплом тумане, который все рассеивался и рассеивался и сжимался в голубой высоте в облака.

Далеко выл у запертого семафора паровоз и звонили колокола по церквам. Репьи стояли тонко и прямо, ни ветра, ни шума, ни ребятишек не было.

Волчек проснулся, и не двинулся, а лежал как лежал с открытыми глазами, глядел в темную сырость под лопухи.

Я наклонился и притих. Волчек, должно быть, не знал, что он собака. Он жил и думал, как и все люди, и эта жизнь его и радовала и угнетала. Он, как и я, ничего не мог понять и не мог отдохнуть от думы и жизни. Во сне тоже была жизнь, только она там вся корчилась, выворачивалась, пугала и была светлее, прекраснее и неуловимее на черной стене мрака и тайны.

Спереди, пред ним и предо мной, все радуется и светится, а сзади стоит и не проходит чернота, и в снах она виднее, а днем она дальше и про нее забываешь.

Волчка давил виденный сон. В нем он тоже видел эти лопухи и сырую тьму по корням, но там они были и такие и не такие. И вот он опять смотрел и не мог ничего понять.

На дворе была еще собака Чайка. И когда были собачьи свадьбы, собаки бесились, гонялись за Чайкой, один Волчек был такой же, как всегда, и не грызся из-за Чайки.

Хозяин думал, что он больной, и давал ему больше костей и щей после ужина. Но Волчек был великан и совсем здоров.

Чужих ребят, какие приходили играть на двор, он не хватал за лыдки, а бил оземь хвостом и глядел с уважением и кротостью.

Я Волчка за собаку не считал, за то и он полюбил меня, как любит меня мать.

Я тоже ничего не знал и не понимал и видел в снах тихое бледное видение жизни. Смутные облака трепетали в небе, и ветер гнул целые дубы, как хворостины, а я стоял в каком-то саду и не слышал, как шумел ветер, и сразу удивился и понял, что это сон, и проснулся.

Было полнолуние и в комнате бледный свет лежал на полу. Я протянулся и попробовал рукой холодные доски.

Раз я спросил у отца, который любил меня и жалел, как маленького, не знает ли он чего, чего еще никто не знает и про что и в книгах не написано. Он сказал, нет, я все думаю про Бога, но его тоже не могу узнать.

А на другой день за обедом досказал: оттого мы ничего не знаем, что и узнавать, должно, нечего. А тебе к чему нужно знать?

А я сказал — да, а жить-то как же? А узнавать есть чего, хоть бы то, отчего мы хотим знать все, если и узнавать нечего, все живет само собой в черноте и пустоте. Отчего кругом томление и борьба? Вот мы прожили немного после революции, и уж увидали, как легко устроить всех сытыми и довольными, лишь бы осталась у нас власть нас самих. Но нам захотелось знать, и не нам одним.

Отец помолчал и перестал есть. Я всю жизнь — сказал он вечером — работал, кормил вас и одевал, не мог никогда не думать, а теперь привык. Теперь жизнь другая, и я все растерял. Но я люблю тебя и ты, может, выйдешь на большую дорогу, тогда делай, что хочешь, а я не могу, я уморился и сидя сплю. Я только жду хорошего, а какое оно, не могу узнать. Всю жизнь я ждал чего-то хорошего и тебе отдаю эту надежду.

На другой день я так же лез с работы через забор и Волчек встретил меня любящими глазами, и в пустых водяных его глазах сидела мертвая сосущая мысль, как каменная гора на дороге домой.

Чайка юлила под ногами, а Волчек молча стоял вдалеке и смотрел. Ему оставалось одно — либо издохнуть, либо дождаться первой собачьей свадьбы и схватиться с другими кобелями из-за Чайки. Но Волчек оставался посредине и раздумывал. Тут была его худшая гибель, и он видел сны, пугался и жил хуже мертвого.

— Волчек, Волчек, Волчек... — Я прошептал это и погладил его. Он прижмурился и заблестел глазами. На миг он ожил и понял, что я жалею и люблю его, как меня жалеет отец. Может, он и глазами заблестел оттого, что понял мою жалость и любовь, взял знание, и в первый раз сзади сияния жизни не было черноты и угнетения.

— Волчек, Волчечек...

Волчек от радости подметал хвостом и повизгивал. Отчего раньше я не догадывался гладить и обнимать его? Нет, тогда бы он понял мой обман и потерял свое первое верное знание, что есть любовь в жизни и сочувствие.

Волчек вертанул шеей, и я увидел, какая у него не собачья, почти человеческая круглая задумчивая голова. Глаза стояли и вглядывались. Он живет не лучше меня.

В этот вечер я пошел по улицам. Белые городские дома в синей луне стояли и глядели окнами на тихо гуляющих людей. Томление и раздумье было во всех.

---

* В публикации в основном сохранено авторское написание.

Кто не любил, тот хотел любви. И никто ничего не знал, зачем это.

Я встретил Маню, в которую был немного влюблен. С ней шел человек с добрым и счастливым лицом.

— Это Витя,— сказала Маня. И я пошел рядом.

Во мне поднялась тоска. Я чувствовал, как горело мое тело. Но в голове было ясно и хорошо. Я смеялся в мысли и мучал себя. Я знал, отчего во мне тоска и отчего вечер кажется задумчивым любящим далеким существом, прилегшим на землю. Я знал и смеялся. Знал, что все не такое, как кажется. И вот вечер, и эта Маня, не задумчивые полюбившие существа, а другое, что я еще не знаю. И по истинной сущности все это наверно ничтожно, жалко и гадко.

Если бы созналось это всеми, то увидели бы, что не любить надо, а ненавидеть и уходить дальше, начинать перестраивать все сначала.

Отчего все ходят по земле, и никто не знает, что она такое?

На другой день я на работу не пошел, а ушел скитаться в поле. А там лег в рожь, и думал до вечера, где найти настоящих людей, которые все знают. Где лежат настоящие книги?

Сам я ни о чем не мог догадаться, и, что узнавал, в том сомневался и начинал опять сначала. А жить и не знать — так и Волчек не мог. Я должен ясно увидать все до конца и быть уверенным и твердым в жизни.

Раньше никому не нужно было знание, потому что нужен был хлеб и размножение людей. Благо было в полном удовлетворении тела. Теперь благо в истине, только это одно я узнал в тот день и пошел счастливый домой.

На дворе я лег в траву и стал глядеть в землю — пыль, песчинки, дохлая мошка и муравьиные дороги.

ВОЛЫ

За криндачевскими рудниками стоит богатая станица, не станица, а хлебный колодезь.

А под старыми казачьими степями, по которым уходил когда-то с сыновьями Тарас Бульба в Запорожскую Сечь, лежит уже тысячи веков жир земли — тугой плотный уголь, каменная сила. Лежит и полеживает.

Вверху в белых мазанках живут потомки запорожцев и уже забывают про турецкого султана, только развешаны в горницах кривые старые сабли и на ножнах темнеет древний серебряный узор.

Старики еще помнят старинные заунывные песни похода со свистом про турецкую нечисть и про шляха. И, когда с Москвы шли большевики, то они пророчили, что обернулись турки с другой стороны и опять идут на православие.

Старики призывали сесть на коней всей молодежи и, как допреж, отстоять святую веру, жен и весь свой тихий божий народ.

— Ляжем всеми, сынки, за божий крест на наших степях,— говорили на сходах усатые деды.

Но сорокалетние сынки помалкивали и в томлении глядели за станицу в вечереющие просторы. Они знали, что такое война, а креста не чуяли так, как отцы, им больше хотелось овец и волов, каменный дом, ухватливую хозяйку.

И хоть грех в церковь не ходить, но и жить в бедности и разорении, стегать на коне по степи — не модель.

Отрываться от любимого двора, хозяйства, от родной станицы, бросать жену и все, чем живешь и что любишь,— не лежит к тому душа, что ни говори старики.

С рудников по праздникам приходят кацапы до казачек, не крестились у храма и грозили спьяна лавочникам большевиками. Черные и чужие, они бродили до утра по станице.

Бросай, Ванька, водку пить
Пойдем на работу.
Будем деньги получать
Каждую субботу.

Пришел Деникин, сгреб хлеб и волов, повесил трех шахтеров и слился на Москву.

Помутилась душа и у старых казаков. Еще тише и любимей стали дворы и амбары, и на жен кричать стали реже.

— Где же вона, правда божия? Знать, и у тех, кто с крестом, ее нету. И из креста глядит антихристова харя...

Перестали ходить кацапы с рудника, пропали, как один.

— Пусть и не вертаются, бисовы дети, от них борщ кислый, голодранцы лапотные.— Так брехали старые бабы.

Казаки ухмылялись: Бог жабе хвоста не дал, чтоб травы не толочила. А ум бабий, что хвост жабий.

Ветром пронеслись назад генералы, отняли всех волов, оставили только кому пару, кому две и пропали к Черноморью.

Пропылили не спеша последний раз родные волы и пропали навек.

Много ушло с генералами молодежи и стариков. Остались только у кого помутилась душа и кто потерял концы привычной правды или пожалел степь и хозяйство.

Пришли большевики. К деду Антону Карпычу без спроса и без разговору ввалился в хату молодой веселый человек в кожаном картузе и лба не перекрестил.

— Здорово, станичник!

— Здоров будь.

— Далеко белые?

— А хто же за ними гнался?

— Покурить можно?

— Твоя ж воля.

— Так. А ты не обижайся, старина, покурю и уйду. Трогать не будем, не до вас пришли, живите себе.

Посидел, посидел веселый кожаный картуз, засмеялся и пошел.

— Прощай.

— С Богом, сынок! — И повеселел старик: люди ж и они. Под вечером, как начали сниматься большевики, вынес сала ломоть и дал какой-то красной звезде.

— Спасибо, отец! Свидимся еще.

— А как же? Да вот волов свели, плешь их башке, пшеницу тоже посвезли.

— Ничего, ничего, сработаем еще, наживем. Теперь дело видней. Всем плохо, перетерпим.

Старик зашел в кучу солдат, осматривался и слушал.

— Так не ждать их?

— Как хошь, хоть жди, да не дождешься.

— А вы не турецкой будете породы? Крест-то носите?

— Крест сжечь надо, на нем Христа распяли. А породы мы все одной. Это они крест всем несут, а мы крест со своей спины снять хочем, чтоб жилось легче.

— Так-так...— Старик понял все слова и пошел домой обдумывать.

Ушли и большевики. У соседа Родионыча остались нетронутыми две пары волов. Он приходил каждый вечер к Антону Карпычу и радовался, и клял.

— А? Ведь хозяин еще я, Карпыч, а? Как ска-

жешь? Може, не воротится фронт николы. И степь и волы — наши, и хаты целы, и хлебом до лета натянем... И крестов с церквей не посшибали, брехня одна была.

Карпыч думал и думал, где истинный бес, где печать и клеймо его?

Не там ли, где волы его. Не крест ли печать бесова... Не можно никак молиться тому, на чем замучили Христа, как же этого никто не узнал?

Он вспомнил веселого хлопца в кожаном картузе. Не бес же он, и клеймо на нем небесное — звезда.

Карпыч уснул и увидел во сне, будто тихо бредут по степи его волы домой с Черноморья.

ЕРИК

Жил на этом свете в Ендовищах один мужик по названью Ерик. Человек он был молодой, а сильный и большой. Бабы не имел и чего-то то и дело чхал.

Не было веселее Ерика на свете: никогда в нем не сокрушалась душа и не скорбело сердце. По этому миру Ерик был как раз впору.

Шли по улице мужики, и шел им навстречу Ерик и чхал.

— Во, корежить его,— говорили мужики,— должно, воздухи в душу не пролезают. Дух не по ем.

— Да. Должно, так... Дерет его чох, поди ж ты!

— Такой уж чудотворный человек.

А Ерик любил дышать, любил всякий дух и чхал для потехи. Радость он чуял во всем и на все отзывался.

Занимался он многими делами — пахал, думал, ходил по полю и считал облака. К вечеру он ворочался на деревню и щупал девок.

Ерик не верил ни в Бога, ни во врага.

Все человечье,— думал он,— и нет у земли концов. Что захочу, беспременно сделаю. Захочу скорбь произведу, захочу радость.

И Ерик, правда, делал многие дела и был душевный человек, хотя и жил один без бабы, как супостат, и приплясывал, когда звонили к обедне.

Раз приходит к нему враг рода человеческого и говорит:

— Хошь, я тебя научу людей из глины лепить?

— Давай,— сказал Ерик.

— А что дашь?

— Лапоть.

— А еще чего?

— Чего ж еще: бери вон корчажку, чуни, юбку... Не обижу, не бойсь.

— Да ладно уж, вижу,— сказал враг и научил Ерика людей лепить из глины, из земли и всякой пакости, если ее наслюнявить.

Наделал Ерик людей целый полк и распустил их по всему пузу земли искать у нее четырех концов. Разошлись вражьи и Ериковы дети и пропали: ни слуху ни духу. И Ерик уж позабыл их и принялся за новое дело — задумал небо проломить и голову в дырку наверх просунуть и поглядеть — есть там бог иль спрятался.

Ходил он опять по полю под облаками и думал обо всем — отчего так хорошо на свете, когда ничего тут нету хорошего и все дела известны. Ночью небо ближе и глядят с него звезды — змеиные глаза. У девок по вечерам сиськи распухают и слезы на глазах.

Отчего еще глаза у них похожи на озера, когда на дне туманом ходят небеса. Колдуны и старухи говорят, что у святых в глазах звезд больше, чем на небе.

Ведьма, дурья голова,— в глазу одна звезда, зато она добрее всей звериной бездны наверху.

С мужиками Ерик водился по-братски — они чуяли друг в друге человеков и не смущались, что жили как брошенные, одни в своей деревне без всего света. Из каждой хаты видно небо, а с неба виден весь свет. И в тихую ночь можно слышать все голоса, как перекликаются люди друг с другом по земле.

И прошел раз слух: объявились гдей-то вражьи дети и выворачивают будто пузо земли наружу кишками и печенками. Всю пакость нутряную будто даром показывают всем на потеху и утешение. Отреклись они от бога и врага рода человеческого, опередили их и задумали переворотить мир и показать всем, что он есть пакость и потеха... Нужно, дескать, самим сделать другую землю сначала.

Заухмылялся Ерик с народом: бог с врагом — давно други и сватья, ад с раем всегда перекликаются. И хоть вражьи дети задумали дело такое, да сами-то на врага не похожи — не то хуже, не то лучше.

На Егорьев день появилась на небе прорубь, высунулась оттуда насмешливая голая голова и опять спряталась.

— Ах, враг тебя нанюхай,— хохотали мужики.

Вечером девки пошли хороводом и пели до полночи над прудом. Ждали других женихов, не своих ребят с оголтелыми рожами.

Дней через пять обломилось небо и выворотилась земля. Полилась отовсюду пакость и нечистота. Все увидели, что такое был белый свет, и насмеялись над ним.

Мир кончился потешением и радостью. Земля и небо оказались пакостью, курником и никому не были больше надобны. Ериков полк наделал делов.

Ночью все пропало, и очутились люди близко друг к другу и остались навсегда одни.

Воротились с пустыми руками пастухи и вдарили в жалейки.

Одно дело кончилось, а другое началось.

Андрей АМЛИНСКИЙ

☆☆☆

Кто знает правила игры —
Тот не верблюд, тому легко
Протиснуться в ушко иглы
И выпить птичье молоко.
И я б — иголкою в стогу,
Но тянется через меня
Живая нить, и не могу
Я Ариадне изменять.
Но вот во мне контакт возник.
Весною, летом иль зимой —
Я только полупроводник
Меж небесами и землей.

Шестидесятые

Железное время, пролязгав,
умчалось. Среди тишины
мы плачем, проснувшись в колясках,
нам снятся недетские сны.
Растишь их, а значит, простишь им.
Натянута времени нить.
И тютчевским четверостишьем
нельзя ничего объяснить.

☆☆☆

Что звезды? С ними не поговоришь.
Безмозглые, почти как футболисты,
Они полночный видели Париж,
А мы о нем слыхали небылицы.
И все же задираем в небо лица,
Наружу вылезая из берлог.
Подмигивают звезды, как блудницы.
Чего им только в голову взбрело.
Понять бы их немые диалоги.
Презренье и зависть вместе с тем.
У звезд, у них ведь нет идеологий,
Хоть и различье солнечных систем.

☆☆☆

У любви все провалены явки.
В окнах свет не горит, телефоны молчат.
Мозг мой мысли сосут-пиявки.
Громко спорят друзья, а в творчестве как-то мельчат.
Мальчиковые стрижки и возрастные прыщи,
Где вы?
Девы созревают вокруг, как груши,
Золотистою кожей и формой схожи —
Грустно.
Вырвался в жизнь, как камень, пущенный из пращи.
Безжалостный — вырос среди игрушек,
Хотел узнать, что у кукол внутри.
А тут хоть лживые, но живые.
В каждой куколке, верно, бабочка спит.
Мысленно вижу я
За темнотою окон:
Ты одежды сбрасываешь кокон.
Но спешу туда, где сейчас начнется
Карнавал, где уже роятся ночницы.
Вдоль улиц вспыхнули фонари.

☆☆☆

Остановите Землю.
Я выйду.
«Битлз»

Веселые, задиристые парни,
Как быстро вы успели облысеть.
Пока мы в межпланетном луна-парке
Катаемся на нашем колесе.

Уже не различаю ночь и день я.
Теряю ощущенье высоты.
То вверх, то вниз. То взлеты, то паденья.
Скрипят кабины. Многие пусты.

Все круче, все быстрее обороты,
И хочется отсюда на ходу
Вдруг выпрыгнуть. Но страшно аж до рвоты.
Остановите Землю, я сойду.

☆☆☆

Ох, рубили вас мелко,
никто не умел, как
шеф-повар на кухне той адовой.
Был хозяин — любитель гурийской капусты,
да и русской не брезговал тоже.
Вызывал он духанщика — «Ну-ка, докладывай».
Он и сам тесаком бы махал, если бы был помоложе.
И дощатые кадки трещали под гнетом, но обручи
их сжимали в железных объятьях.
Неужели вы, дети Всевобуча,
только тут, наконец, понимали, что все люди — братья
по несчастью. Эпоха катилась к закату,
и слабеющей дланью свой хлыст поднимал укротитель,
с недоверьем взирая на карту,
видел льва там — за прутьями меридианов.
Лицо каменело, превращаясь в посмертную маску.
Наступила весна, начал рушиться мир идеалов
ледяных... Только вы сохранили закваску.

☆☆☆

Неужели уже не увижу Кижи
и с наследием эпистолярным
безымянных, неграмотных зодчих
познакомлюсь в журнале «Наука и жизнь»,
благо, тема сейчас популярна,
поверю заочно,
  так и не убедившись воочью,
в онежское нежное чудо, почти что из воздуха,
что на слове стоит да на вере.
Так Творец, без единого гвоздика,
создал мир, что теперь лишь от легкого дуновения
в пух и прах разлететься готов.
  Он зажат меж зубов,
тот орешек,
чья судьба от «орлов» или «решек»
зависит всецело.
Сохранить и спасти его может одна лишь любовь,
пока твердой рукою на карты наносятся цели.

Метро

Я забрался сюда от стужи.
Мы с тобою играли в прятки,
Зимний вечер, как тихий ужас,
Наступающий мне на пятки.
Ненавидящий все на свете,
Завывая осатанело,
Словно поезд, подземный ветер
Вырывается из тоннеля.
Полночь. Жрицы подземного храма
За две тысячи верст от Мадрида
Посыпают опилками мрамор,
Как арену после корриды.

Норайр БАГДАСАРЯН

Девушка уходит

В этом мире скатертью дорога
и заря внезапна и светла,
девушка уходит от порога,
материнских слез полно в косынке
и колючих, жестких слов отца.
Восемнадцатилетние заборы,
скрученные травы — мимо, мимо.
Девушка уходит по бревну,
а под ним ручей всего лишь в палец.
Гуси с шумом складывают крылья,
указуя клювами ей путь.
Девушка уходит без оглядки,
оставляя детство на подушке,
а в подушке перья бьют крылами
и за нею каждый день летят...

Рукою младенца

Сыну Месропу

Несет скале стакан воды
Малыш в полдневный зной —
И на устах ее цветы
Горят голубизной.

Стакан воды в руке своей
Он голубю несет —
И стаи шумных голубей
Взмывают в небосвод.

В вечерний час стакан воды
Несет звезде малыш —
И небеса его звезды
Спускаются до крыш.

Стакан простой воды несет
На берег далеко —
И море из стакана пьет,
И слаще тся легко.

Село в начале лета

Пахари с поля бредут на закат,
Птицы летать устают поневоле,
Косы стальные по небу скользят,
Блеск их обходит широкое поле.

Словно собака, ночной холодок
Тянется следом в низине тумана,
И тишина, в этот час столь желанна,
Трется, стираясь о старый брусок.

Сон до утра всех сморил не шутя,
Будто тяжелая обувь, усталость
Так за дверьми ночевать и осталась
И просыпается, словно дитя.

Разлука

Чья воля разлучает нас безвременно?
Я здесь, а тень оставил за холмом.
Так дерево оторвано от дерева,
Стоит на темной улице столбом.

☆☆☆

Дед на камень присел возле двери,
Тень прохлады пришла и ушла.
И хотя он морозу не верил,
Запах снега ловила душа.

Погрузился он в зимнюю дрему,
Превратился на камне он в снег.
Бабка вынесла шубу из дому,
Снег на камне накрыла навек.

Мое море

Мое море встало с места и шагает по стране,
Берега его размыты и застыли, как во сне.

Тучи низко проплывают и огнем его разят,
А всклокоченные воды корабли не бороздят.

И шагает мое море по ущельям-пропастям,
Его пенистые гребни по моим идут следам.

Разрастаясь, ил выносит и мутит голубизну,
Нагоняет сон туманный на огромную страну.

Бородой метет по ветру и плюется, как старик,
Лижет рифы и утесы, и кровавит свой язык.

Завоевывает земли, но в пути не любит встреч,
Потому что в этом мире бесконечно хочет течь.

Мое море встало с места и шагает напролом,
За волной волну рождая на просторе голубом.

Над морями и над миром, над оставшейся землей,
Словно дух бессмертный, бродит одинокий голос мой.

Перевел с армянского
Ю. КУЗНЕЦОВ.

Олеся НИКОЛАЕВА

Собака

Было так:
Алеша звонил из автомата в моем подъезде
и вешал трубку.

Мама подходила к телефону и говорила:
«Наверное, не туда попали — шальной звонок».
А я, как бы нехотя, как бы из чувства долга
брала поводок, и собака
вскакивала со своего места, лаяла, виляла хвостом,
совала морду в ошейник.
«Пойду погуляю»,— я говорила небрежно,
а Алеша уже поджидал нас на лестничной клетке.

Каждый раз Алеша стыдил меня за то,
что я так мало читаю,
и потому приносил с собою очередную книжку,
требуя исчерпывающего отчета о предыдущей.
«Ну как,— спрашивал он,
строго пронизывая меня взглядом,—
как тебе понравились Будденброки?»

И я, выучившая уже некоторые его выражения
глубокомысленно отвечала, стиснув зубы и собравшись духом:
«Крепкая проза».
Параллельно мы проходили с ним поэзию царства Чжоу
и время от времени к Древней Греции обращали взоры,
и на трудном пути от южного берега Хань
до прекрасной Трои
начинали уже целоваться.
А потом мы за хронологией совсем не следили
и легко пересказывали от лейкистов к оберпутам
и, кажется,
во время сопоставления Корнеля с Софоклом,
Алеша как бы так, между прочим и нота бене,
предложил мне выйти за него замуж.

...Мы проходили Стерна, Гессе и Мандельштама,
и корейцев в переводах Гитовича, и сады с сиренью,
и пустые ночные площади, и скверы, и парки.
И Алеша уже беседовал с моей мамой,
чтобы она построже за мной смотрела.

К концу лета по моей загнанной школярской душе
по-хозяйски расхаживали взрослые персонажи —
Одиссеи и Чичиковы, господа Голядкины и мелкие бесы,
и Фаусты с Фаустусами выясняли сложные отношения.
Встречались также и лишние люди,
преимущественно русского происхожденья,
боримые синдромом гамлетизма и байронизма,
и два-три подлинных Гамлета из принцев Датских,
страдавшие комплексом царя Эдипа...

Алеша говорил:
«Когда ты выйдешь за меня замуж,
ты будешь мне показывать каждую строчку,
которую ты напишешь,
чтобы я мог ее сразу исправить с точки зрения вкуса».
Потому что Алеша очень хотел,
чтобы из меня получилась
настоящая поэтесса.

Так прошло лето.
Алеша стал собираться в дорогу:
он учился в консерватории, и его посылали на конкурс
в Соединенные Штаты.
Вечером накануне отъезда он пришел попрощаться
и подарил маме белые розы.
Они просидели до ночи,
и оба меня воспитывали, критикуя.
Алеша говорил, что я по-прежнему ничего не читаю
и за целое лето
написала ну разве что пару приличных строчек.
А мама поддакивала, что я ленивая и вообще неряха.
Потом я взяла собаку и пошла провожать Алешу,
И где-то там, в полутемной арке,
собака вдруг походя цапнула какого-то человека,
а он оказался подгулявшим американцем.

Он возмущался, махал руками
и требовал немедленного морального удовлетворенья:
«Собака кусать меня — значит я должен кусать собака!»
А я кричала, что, если он укусит мою собаку,
моя собака вовсе его искусает,
и тогда получится настоящая борьба и битва,
международный конфликт, милиционер с пистолетом
и никакого морального удовлетворенья.
И тогда Алеша мужественно протянул
свою музыкальную, предконкурсную, драгоценную руку
и сказал: «Я — джентльмен и уважаю законы чести —
укусите меня и тем вы исчерпаете
переполненную чашу вашего праведного негодования».
И тогда американец, распаркавшись
и галантно вытерев платочком губы, укусил его прямо
в запястье,
и даже в темноте было видно, как побледнел Алеша.

Вот и все.
Алеша уехал в Америку и занял первое место.
«Это,— кричал он радостно по телефону,— потому, что
я получил прививку накануне отъезда!»
Все его встречали торжественно на аэродроме —
с шампанским, с цветами.
А потом он еще куда-то уехал,
и настала осень.

Гулять с собакой стало тоскливо до рева в голос,
и китайскую поэзию мы так и не доучили,
и не прошли до конца Античность и Средневековье,
и Возрожденье тоже белым пятном осталось,
да и Новое время как-то так пролетело,
я уж не говорю про двадцатый век
и текущую литературу...

Через год Алеша женился,
и некому стало править мои стихи с точки зрения вкуса,
зато мне все говорили:
«Что это у тебя все так грустно, пессимистично,
все у тебя с надсадом, с надрывом, на крик...»

А однажды — лет уже через десять --
Алеша вдруг посреди улицы меня окликнул.
Я спросила его благодушно:
«Ты по-прежнему так много читаешь?»
А он спросил: «Послушай, а как собака?
Нет, ты помнишь, помнишь — там, в подворотне?..»
И мы засмеялись так, будто б встретились с ним наутро,
если бы он никуда тогда не уехал.
И Алеша опять сказал: «Нет, ты помнишь, помнишь —
как же он меня тогда укусил — ведь почти до крови!»
И мы опять засмеялись.
«Ха-ха-ха!» — хохотал Алеша, тряся кудрями,
«Хо-хо-хо!» — хохотала я на высокой ноте.
А потом, словно застигнутые врасплох, замолчали оба,
и пошли каждый своею дорогой,
и не виделись уже больше,
и никогда не встречались.

По мотивам Мюссе

...Только стоило выйти из дома так рано,
что еще не очнулась земля от тумана,
не вкусила заботы мирской,—
как из снега летящего, дали безгласной
то ли юноша шел мне навстречу прекрасный,
то ли дева в одежде мужской.

Только стоило выйти из дома так поздно,
что деревья сбегались все вместе, и грозно
тень ложилась сплошной пеленой,—
тот же самый таинственный и безымянный
то ли ангел мой, то ли мой бес окаянный
чуть поодаль шел следом за мной.

Средь толпы — он подобен был белой вороне,
он встречался мне на опустелом перроне,
проносился в вагонном окне,
копошился под вечер в горящих угольях,
подливал мне вина в невеселых застольях
и насвистывал марш в тишине.

И, последним лучом меж деревьев играя,
шел за мною туда, где сирень у сарая,
повторял, что забвения — нет;
то хватался за письма, то, выдумав праздник,
свечи жег и примеривал серый подрясник
и сутулился, щурясь на свет.

А однажды, когда я прощалась в прихожей
с тем, кто был мне и жизни, и чести дороже,
чище снега крещенской зимы,
строже зимнего поля, суровее леса,—
будто тайная вдруг приоткрылась завеса,
и прошел он меж нами средь тьмы.

...И всегда он стоял на дороге прощальной,—
из полуночной смуты, из мути зеркальной
выходил с потемневшим лицом:
он казался мне призраком смерти и детства
и отверженным братом, лишенным наследства,
неудачником и близнецом!

И, устав от опеки его и заботы,
я, поймав его за руку, крикнула: — Кто ты?
Ангел? Демон? Погибель моя?
И ответил, глаза опуская совсем, он:
— Я не ангел твой светлый,
но я и не демон...
— Кто же ты?
— Одиночество я!

Мамед ИСМАИЛ

Моим стихам тебе не приглянуться

Моим стихам тебе не приглянуться.
Того, что ищешь, нету у меня.
Ты сам сумел от правды отвернуться,
Сердит на всех, себя лишь не виня.
Нет двух дорог для правды. Раздвоенье
Нагнать на сердце может лишь тоску.
Ложь вызывает в мудром отвращенье,
А ты бежишь к нечестному куску.
Коль правда есть, так есть она без денег,
А нет ее — и вверх ползет цена,
И кто-то вновь на несколько ступенек
Взбирается,— душа его черна.
И, заплатив за сына, обеспечил
Отец ему престижный институт.
Еще один нахлебник нам на плечи
Усядется, безделье — тяжкий труд.
Сидит за партой самою последней
И будущему рад в карман залезть.
Мне будущего жаль. Такой наследник
Не знает слова «правда», слова «честь».
Зато не счесть всех тайных льгот, поблажек...
Как изворотлив смолоду и быстр!
Не сын растет, а свадебный барашек,
Отец — начальник, чуть ли не министр.
Доходных мест у кривды — тысяч десять,
Смешон мой стих, не правда ли, нелеп?
Еще бы, если хлебом в детстве грезить
Пришлось; и стих мой прост, как этот хлеб.
Я рад, что он тебе не приглянулся.
Не привлечет он взгляд холодный твой:
В нем — мой отец, с войны он не вернулся,
В нем — мать моя, с поникшей головой.
Вот расхожденья нашего набросок.
Клянусь, еще посмотрим, кто кого.
Мои стихи — горячий оттолосок
Сердечных дум народа моего.
Как знать, крепки ли с миром наши узы
И верно ли предсказан жизни ход?
Коня, что куплен был за пол-арбуза,
Глядишь, потоком бурным унесет.
Но у меня такое ощущенье,
Что страх тебя коснулся и смущенье,—
Так изменились круто времена.
Пробился луч сквозь тучи, освещая
Земную даль от края и до края,
И верой в жизнь душа увлажнена.
К изнанке жизни больно прикоснуться,
Но стих в пути мужает и в борьбе.
Моим стихам тебе не приглянуться!
Я не хочу понравиться тебе!

Вместо письма

И что ни ночь, пишу тебе письмо,
Незримое, в своем воображенье.
А вдруг оно дойдет к тебе само,
Без марки и конверта, в сновиденье?
Мне кажется, ночная тишина
Озвучена словами и хранима.
Ужель и впрямь бумага так нужна,
Послушное перо незаменимо?
Засну — проснешься, путь к тебе далек,
Печали поменяются местами.
Иль за меня заветных слов цветок
Тебе не скажет жаркими устами?
Ужель и впрямь листва не шелестит,
И ветерок прохладный равнодушен,
И сердце сердцу всех своих обид
Не выскажет: ему посредник нужен?
Лежу, рассвет во мраке торопя,
Жду, не подаст ли зыбкий голос птица?
Пускай щадит бессонница тебя,
Бессонница моя тебе не снится?
Подернуты пути-дороги мглой;
Спят, снов не видя, наши адресаты,
Ужель всю ночь я речь с самим собой
Веду,— не слышишь слов издалека ты...
Любовный жар, сердечный тайный пыл...
Письмо во тьме дается нелегко мне.
Потом ты скажешь: он меня забыл.
Потом ты скажешь: он меня не помнит.
Былое, знать, останется в былом...
Напрасно имя я твое тревожу.
Кто нас развел, кто врозь, а не вдвоем
Жить повелел, содрал мне с сердца кожу?
Но иногда, рассветною порой,
Мне кажется: проснувшись, ты внимаешь
Моим словам, и плачешь над строкой
Моей, и в сердце, как в письме, читаешь.

Язык огня

Горит огонь на древнем Апшероне.
Мне кажется, то дух земли горит
На фоне дня и ночи черном фоне,
Как символ всех надежд и всех обид.
Колеблясь языками голубыми,
Горит огонь, над трещиной вися,
Подступишься — и жар тебя обнимет,
А издали — земля в фиалках вся.
Горит огонь, не ведая, как много
Прошло эпох, он краше всех эпох.
Пурга ли, дождь,— горит он, недотрога,
Как дух земли, ее подспудный вздох.
Красноречиво жаркое дыханье.
Он речь ведет, не понятый людьми.
Коль усомнится кто в твоем пыланье,
Огонь, меня в свидетели возьми.
За ночью — дней нелегких вереница,
И не протоптан в будущее путь,
Зато недаром в памяти таится:
«Свечу творца и ветром не задуть».
Всех дел моих горячий вдохновитель —
Огонь земли, его попробуй тронь!
А кровь мою проверить захотите —
Состав ее — сплошь пламя, сплошь огонь.
Любители потолковать о крови
И чистоте ее — уйдут ни с чем.
Смотри: не то же ль пламя в каждом слове,
В основе песен наших и поэм?
И у огня заимствовано имя
Для этих мест, что радует меня,
И летопись земли моей родимой
Есть путь огня, история огня!
Земля Огней, не правда ли, домашний
Очаг — твой внук, твой родственник прямой?
Земля моя, нам и в бою не страшно,
Когда огонь пылает за спиной.
Стою, и мнится: время отступает.
Пригнет огонь воздушная струя —
Поникнет он, но тут же вновь взмывает,
В нем — жизнь моя, и в нем — судьба моя!

Перевел с азербайджанского
А. КУШНЕР.

К нашей вкладке

Елена КУРЛЯНДЦЕВА

ПАРАД ПОТЕРЬ

Позиция Ивана Лубенникова

Недавно в Москве прошла выставка работ художника Ивана Лубенникова. Уверенное владение современным изобразительным языком, раскованная эмоциональность привлекли многих зрителей. На седьмом съезде художников СССР И. Лубенников был выбран в правление и стал самым молодым секретарем СХ СССР. Ему 36 лет, он энергичен, образован, талантлив. Он кажется человеком счастливым, способным любую работу превратить в творческую удачу. Это по-разному проявляется и в станковой картине, и в графике, и в монументальных работах, самая известная из которых — советский раздел мемориального музея «Освенцим» (совместно с архитектором А. Скоканом) — получила международное признание. Его работы экспонировались на многочисленных советских и зарубежных выставках, приобретались известными западными коллекционерами, хранятся в музеях нашей страны, даже в почтенном Русском музее. Его живопись, еще недавно раздражавшая чиновников от культуры на молодежных выставках, сейчас — предмет уважительного профессионального обсуждения.

Лубенников — общительный человек, на выставке он готов был отвечать на любые вопросы и обсуждать самые разные проблемы. Разговоры получались откровенными и не укладывались в рамки программы. Наша беседа в основном касалась общеупотребительных в статьях и разговорах об искусстве понятий и выражений, которые мы часто слышим, но понимаем обычно по-разному...

— Недавно ты покинул границы официального молодежного возраста, но вступил во «взрослую» художественную жизнь ты уже давно, опередив многих своих сверстников, как бы оторвавшись от них. Скажи, понятие поколения в искусстве — оно для тебя существует или нет?

— И существует, и не существует. Потому что со временем все поколения соединяются в понятии художественной культуры и становятся составными частями большого целого. Я смотрю на возраст в искусстве чисто профессионально, и своим поколением мог бы назвать современников, которые, может быть, по возрасту отстоят от меня довольно далеко. Потому что возраст в творчестве не определяется возрастом физическим. Можно и в девяносто лет быть молодым художником, а можно довольно рано остановиться в развитии и впасть в некий академизм. А понятие «поколение единомышленников» всплывает тогда, когда в обществе царит климат, обусловленный недоверием, подозрительностью и амбициями. То есть пока существуют предпосылки для некой групповой сутолоки. Если же, паче чаяния, представить себе идеальное нравственное состояние общества, тогда наиболее весомой становится иная ценность — самостоятельность личности.

— А как ты относишься к понятию «поколение 60-х»?

— С огромной теплотой. Всем, что для меня сегодня стало возможно, я во многом обязан людям, которые в шестидесятые годы, на волне тех преобразований, привнесли в искусство новые начала, пробили брешь в культуре сталинского периода. Но, сложись в 60-е годы та ситуация, которая возникла в искусстве сегодня, это был бы просто взрыв Везувия, потому что тогда даже те малости, которые удавались, уже казались невероятными, и еще один шаг привел бы просто к новой волне репрессий. Я в этом убежден, потому что все адекватно состоянию общества, общественного мнения. Возможно только то, что возможно в каждое реальное время. Увы!

— Ну, а как, на твой взгляд, складываются отношения в Союзе художников? Что такое Союз художников?

— На сегодняшний день это довольно искусственное объединение художников в некую организацию, которая не является профсоюзом, не является до конца творческим союзом, хотя и претендует на это. Сложилась немыслимо гигантская организация, которая по-прежнему не имеет какой-то реальной позитивной функции. Поэтому здесь существует и коррупция, поэтому здесь существует и групповщина. Дележ приоритетов, дележ средств происходят потому, что художники поставлены в искусственную ситуацию, когда они сами себя субсидируют, оценивают, сами себе платят и так далее. Причем качественные критерии пока принимаются в расчет очень редко. Я не знаю, может быть, когда-то для государства это и было выгодной формой — замкнуть художников в определенную скорлупу, где им хорошо, и не дует, и минимум всегда получить можно. Но в моем представлении союз — это все-таки нечто иное. Это организация активная, творческая, это организация, которая прежде всего объединяет личности, готовые отвечать за свои произведения, за свои действия, за свои слова. Личности, которые в полной мере получают и свои собственные лавры, и подзатыльники.

— А сейчас это реально?

— Не знаю, не знаю. Мне кажется, все зависит от конкретных людей. Кто как себя в этой жизни поставит. Какие люди возобладают в Союзе художников, таково будет и его общественное лицо — либо лицо истинное, либо маска.

— Скажи, а что такое социалистический реализм сегодня?

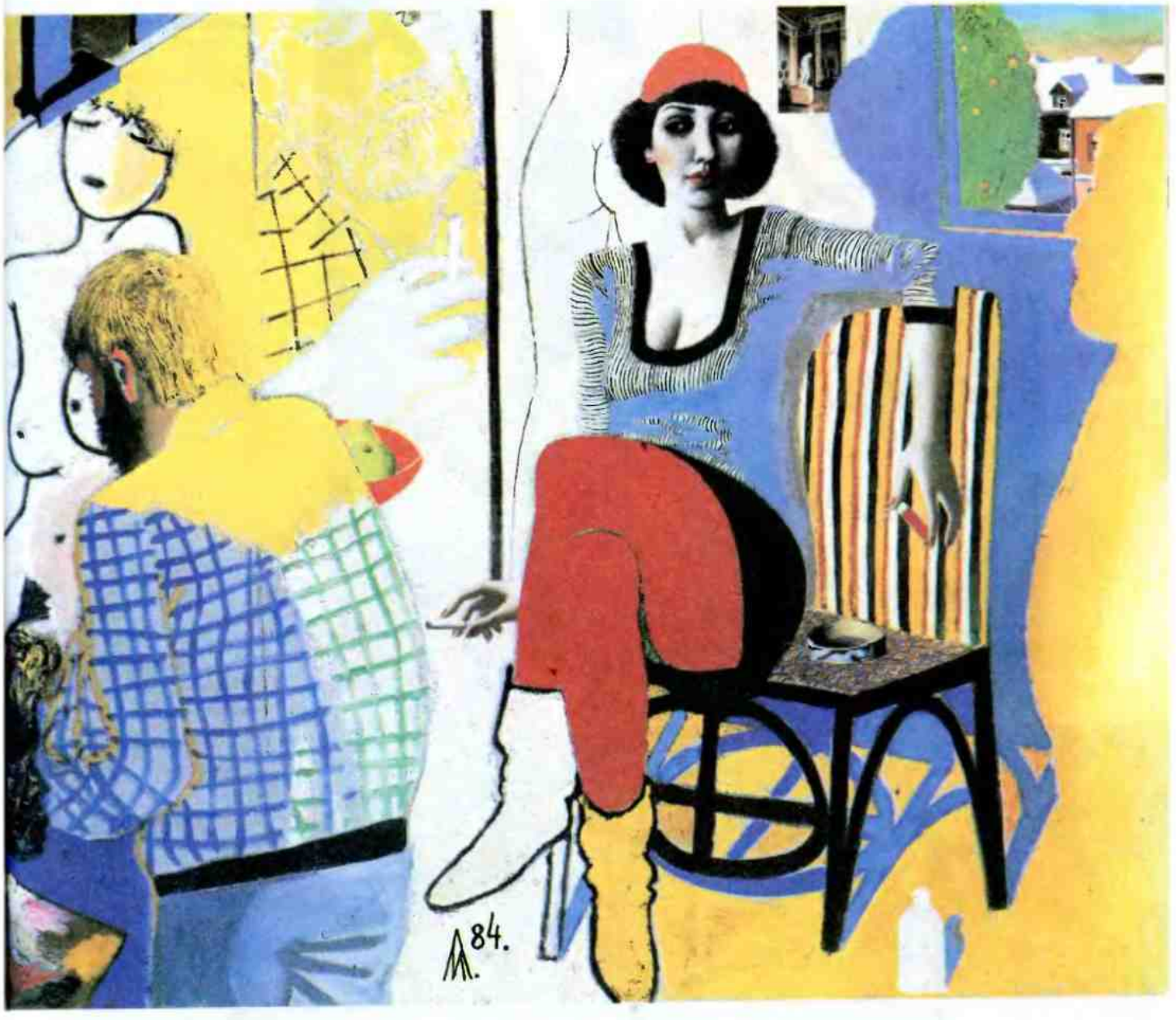
— Мне трудно об этом сказать что-либо определенное.

— Но ведь ты часто присутствуешь на заседаниях, где этот термин все время...

— Муссируется, да. Мне вообще-то кажется, что это такой термин... чтобы не сказать «спекулятивный»... ну, скорее всего бытовой, что ли. То есть термин, который в быту приносил некоторым нашим художникам огромную пользу. У нас вообще существует устоявшаяся наследственная болезнь: в любых, даже сугубо профессиональных вопросах применять идеологическое оружие. Термин «социалистический реализм» как раз таковым и оказался. Думаю, что Алексей Максимович вкладывал в него иной смысл. Но со временем термин «соцреализм» стал оружием в борьбе за существование и остается таковым по сей день. Но сегодня это оружие, уже висящее на стене среди других пистолетов и сабель. Это скорее историческая реликвия, которой размахивают люди, совершенно не уверенные, что это оружие способно кого-то поражать. Это уже скорее привычка. Что такое «социалистический реализм» на самом деле, я не знаю. Потому что есть критерии высокого реализма. И вообще надо договориться сначала, что такое реализм. Я-то считаю, что многие произведения, которые носят общепринятые признаки реалистических, являются проявлением чистого формализма. На наших выставках увидеть таких можно очень много. Чего стоит вся продукция живописных комбинатов?.. Любое искусство, не имеющее реальной духовной человеческой основы, рожденное без реального желания и вдохновения — это в общем-то формализм.

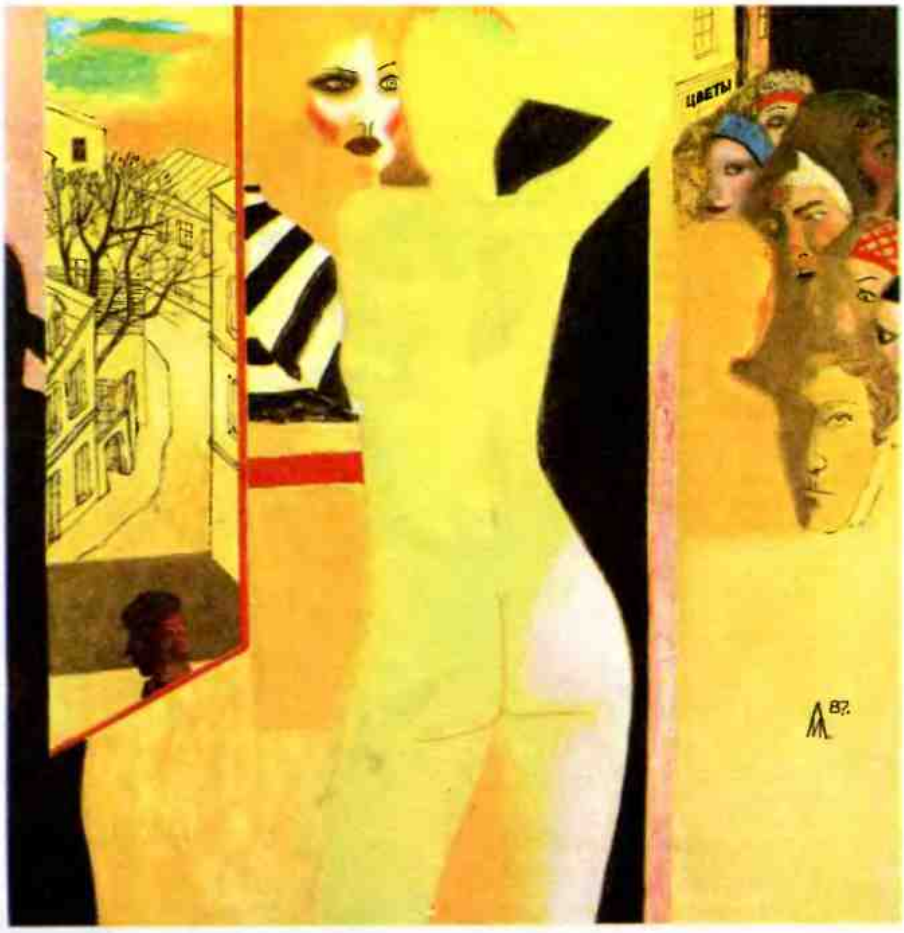
— Давай тогда поговорим и о соотношении реальности и абстракции в живописи.

— Ну, про живопись могу сказать совершенно определенно, что вообще-то я не знаю в истории ни одного крупного художника, который обходился бы без абстракции, и знаю при этом крупных художников, которые обходились без реального предмета. Если следовать только предмету, искусство ничего не добавит к существующему миру. Я как-то сказал в компании, которая не была к этому подготовлена, что Рембрандт — великий абстракционист. И меня чуть не закидали стульями. Но на самом деле Рембрандт — художник, абсолютно независимый от предметов — создавал вещи



Художник и модель.

ИЗ РАБОТ МОСКОВСКОГО ЖИВОПИСЦА ИВАНА ЛУБЕННИКОВА



Канун весны.

Воспоминание.

Тамара!
Подожди.

Картошечка,
селедочка.

Портрет жены и сына.

Андалузия.

во многом более убедительные, чем реальность. Вот это повод говорить о соотношении абстракции и реальности. Копия никому не нужна, потому что она все равно неубедительна. Все, что отличает искусство от реальности, дает ему дополнительные жизненные силы, не определяемые реальными словами, символами,— это уже абстракция. У нас сугубо прикладное отношение к этой терминологии. У нас «реальное» — если есть предмет, «абстрактное» — если нет предмета. Можно, конечно, сколько угодно говорить о реализме, но все это бессмыслица, потому что те же самые «реалисты» (во всяком случае, лучшие из них) вовсю пользуются абстракцией, просто не хотят это признать. Искусство — это вторая жизнь. Та жизнь, которую мы, художники, носим в себе, отделяем от себя и делаем самостоятельной.

— То есть это новая реальность.

— Новая реальность. Вторая природа...

— А что для тебя традиция в искусстве?

— Традиция — это сумма достижений. В ней есть и нравственные критерии, и этические, и профессиональные. История сама легко выделяет их из общего ряда. Хотим мы того или нет, мы сейчас не определим, что станет традицией, которую так или иначе все мы рождаем; это только со временем определится поколениями, которые будут смотреть на нас с высоты своего исторического возраста и выбирать из достигнутого нами самое существенное. Я за то, чтобы традиция питала творчество современного художника, скорее в этическом и нравственном качестве, и ни в коей степени не была предметом элементарного формального подражания.

— А профессионализм — это объективное понятие? Что это для тебя?

— Мы — люди, живущие благословенной жизнью, потому что делаем свое дело сами от начала до конца. Это чрезвычайно важно в человеческой жизни, поскольку ты являешься свидетелем появления на свет результата своего труда. Много лет у нас экономикой руководили политики, ничего в ней не понимавшие, культурой — чиновники, не имевшие специальных профессиональных знаний, потому и девальвировалось представление о ремесле — о любом ремесле как таковом. Мы сейчас живем в обществе дилетантов, где никто не знает до конца, что же он делает. Многие совершенно формально относятся к своей производственной деятельности, но очень заинтересованно — к тому, что́ они с этой деятельности будут иметь. Это порождает ситуацию, когда мы настойчиво требуем, чтобы было всё, не желая при этом делать ничего. Заколдованный круг. Надо наконец понять, что если ты сам делаешь плохие утюги, то и колбасы будет мало. Поэтому, я думаю, самой актуальной становится ценность подлинного ремесла в нашей жизни, и чтобы люди могли этим ремеслом зарабатывать. И соответственно уровню своего мастерства ценились бы в обществе. Тридцатые годы ударили именно по профессионалам. Безнравственные люди с помощью идеологического оружия расправлялись с любым конкурентом. Любой профессионал оказывался невыносимым конкурентом, потому что располагал материальными доказательствами своей правоты. Это было уничтожение и профессионалов, и профессионального уровня во всем. Мы потеряли целые поколения, пока весь мир воспитывался на наших культурных достижениях, на искусстве начала века. Отсюда у нас такие трудности в архитектуре, дизайне. В тридцатые годы многие художники пошли в услужение. А гигантская поверхность нашего отечества, все, что на ней выстроено, чудовищное состояние нашего сегодняшнего архитектурного ландшафта остались вне поля интересов руководителей культуры. Но беда в том и заключается, что сегодня мы опять думаем о себе, о том, как бы прославиться, сколотить себе капитал — нравственный, авторитарный и чисто меркантильный,— совершенно не думая о том, что существует вокруг. И при этом постоянно бросаемся лозунгами. Во всем цивилизованном мире вопросами массовой культуры занимаются профессионалы, она не является прерогативой каких-то там шарлатанов. Ничего подобного. Именно профессионалы направляют массовую культуру. И это отражается на всем: на жилище, на образе жизни, на состоянии городов, на отношении к земле, к архитектуре — на всем, что у нас утонуло в свое время в писании портретов генералитета, вождей, липовых картин про наш оптимизм. Все остальные области, которые подчинены художественной культуре — а подчинено ей многое,— остались без изменения. Что будет потом, никому не интересно. А вот это «потом» — оно как раз и не получается. Нами руководили всегда только сиюминутные интересы. Мы до сих пор еще не научились нормальной жизни. Все время что-то строим — сегодня строим, завтра ломаем. Мы постоянно строим один и тот же этаж, который уже построен. Постоянно занимаемся разгребанием грязи, оставшейся после каждого предшествующего поколения. А чтобы конструктивно жить, добросовестно и хорошо делать свое дело, нет времени и нету места. Но этот процесс кому-то когда-то надо начать, не то следующее поколение, видя наш способ существования, начнет жить так же. Дом так и останется недостроенным — только первый этаж, который еще не перекрыт даже потолком второго... У меня такое эмоциональное ощущение от происходящего — парад потерь. Накопления почти не происходит. Ни культурного, ни социального, ни материального. Потери качества, потери чисто вещественные. Это меня очень волнует.

— А в чем ты видишь свою роль художника-монументалиста?

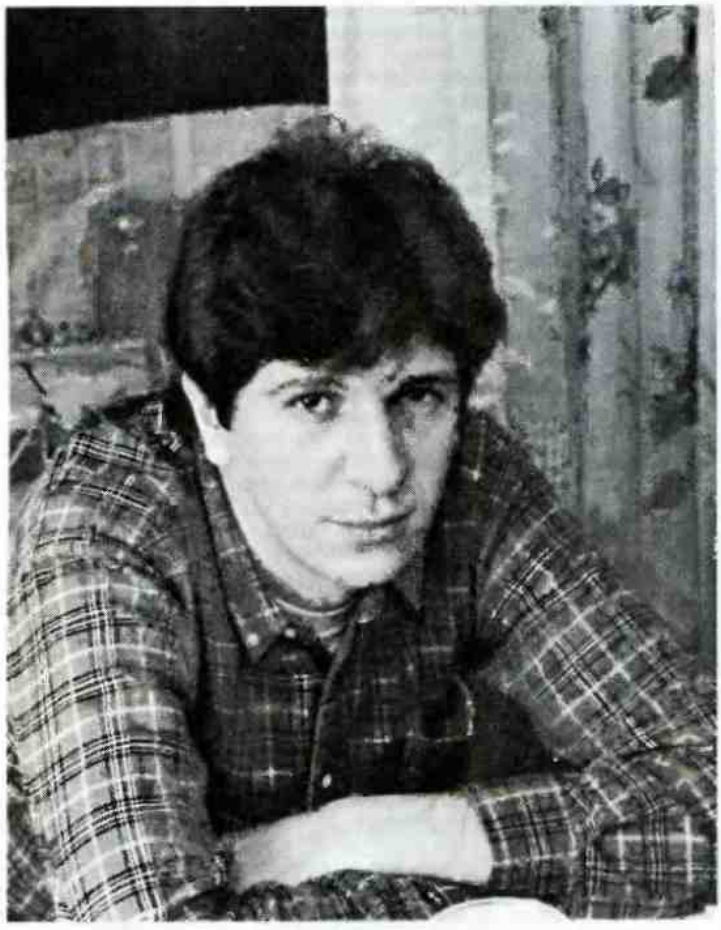
— Дело в том, что я не только монументалист — я художник. «Монументалист» — вообще название неправильное. Я монументов не создаю. Я против монументов, потому что они не украшают нашу жизнь, не делают ее счастливее. Хороший памятник человеку — это его произведение. Хороший памятник общественному деятелю — это та жизнь, которой после него живет общество. А вовсе не бронзовый бюст на родине героя. Надо заниматься человеческой жизнью. Существует двор, существует жилище, существует место, где люди встречаются, играют в домино, существует голубятня — существует масса всяких вещей, которые у нас считаются хламом. А они должны быть нормально, по-человечески сделаны, и когда я вижу убогую лестничную площадку — я уже не художник, я дизайнер: я думаю, как хорошо бы сделать, чтобы люди хотя бы не хватались за голую железку. Вот амплуа нормального профессионала: с точки зрения реальности и целесообразности смотреть на ту жизнь, которая существует. Надо мыслить конкретно, я в этом глубоко убежден. Духовные ценности образуются именно в результате человеческого отношения к своим согражданам. Они не могут существовать в отрыве от реальности как некая абстрактная величина.

— Это о монументальном искусстве. А в живописи многие твои работы имеют литературный адрес — Булгаков, Маяковский... Их никак нельзя назвать образами иллюстративными, но, видимо, литература постоянно питает тебя. А как ты относишься к опубликованию «Собачьего сердца», «Котлована»?..

— Я считаю, что самое положительное из того, что происходит сегодня,— это реанимация подлинных культурных ценностей, не мнимых, не навязанных, которые с натяжкой могли считаться культурными. То, что наш народ сейчас начинает узнавать истинных своих героев,— это очень важно. У большинства не было возможности для сравнения. Просто образования элементарного нет — доступа не было к тому багажу, который накоплен человечеством. Когда тебе одного Репина всю жизнь показывают — свыкаешься; значит, он самый хороший, значит, все, на него не похожее,— это «не Репин». Но если бы ты Репина увидел в контексте истории искусства, ты бы к нему относился иначе. Нужны знания. И знания не умозрительные, не информация на уровне передачи «Что? Где? Когда?», а знания ценностей, которые в человеческой культуре абсолютно ясны, как ясен мне, скажем, Пикассо на фоне современного искусства.

— Ты человек с активной жизненной позицией, общественный деятель, если хочешь. Что бы прежде всего ты хотел переделать в нашей художественной практике, культуре?

— Я категорически против того, чтобы создавать «липовую» архитектуру. «Липовую» не только в смысле качества жилья, хотя и это важно, потому что жить долго в таких постройках невозможно. Я против «липовой» архитектуры, которая создается для массового оптимизма. Гигантские культурные учреждения, куда не идет народ и где нет культуры... Эти дворцы, эти хоромы, эти в мраморе сделанные чудовища... Не знаю, у меня просто волосы становятся дыбом — такая ложь, такое безумие. Нужно вернуться к реальности человеческой. Жизнь в городе определяется повседневностью. Надо создать прежде всего атмосферу и среду, которая бы способствовала оптимизму. Я против того, чтобы гробить государственные средства на эту «липу». Искусственную жизнь надо заканчивать, иначе вылетим в трубу.



Декретом Национального Конвента Франции от 24 ноября 1793 года был принят новый, «революционный календарь», летосчисление которого начиналось не от Рождества Христова, а с 22 сентября 1792 года — со дня провозглашения Республики во Франции, «начала эры свободного существования человечества».

«Происхождение Республики подобно... происхождению Человека, плачущего при рождении».
Сен-Жюст

Время действия пьесы: 1792—1794 годы.

Действующие лица:

РОБЕСПЬЕР
ДАНТОН
КУТОН
КОЛЛО Д'ЭРБУА
БАРЕР
КАРНО
СЕНТ-АНДРЕ
ЛЕНДЕ
ДЕМУЛЕН
ЛЮСИЛЬ, его жена
ЭБЕР
ДАВИД
ПЕРЕПИСЧИЦА
БАРОН
ЖАК
СЕДОЙ, он же ОПОЛЧЕНЕЦ, он же ЧАСОВОЙ в Вандее
ГРАФ
СВЯЩЕННИК
ГАЗЕТЧИК
ПЬЕР
РОЗА
«КОЛПАК»
«КОРОНА» ПРОСТИТУТКИ, они же ТОРГОВКИ, они же ЖЕНЩИНЫ из «хвоста»
ГЛАШАТАЙ, он же ГВАРДЕЕЦ, он же КРЕСТЬЯНИН в Вандее

Александр БУРАВСКИЙ

ВТОРОЙ ГОД СВОБОДЫ

(Гильотина для Робеспьера)

Трагическая фантазия на темы Великой французской революции в 2 частях

Я с детства помню рисунок: огромный усатый солдат вонзает штык в грудь мальчика. «Да здравствует Республика!» И нам, детям 30-х годов, все было ясно. Нет в мире чужого благородства, чужой жестокости, чужого подвига, чужой боли — все человеческое, все наше. А потом я узнал, что мальчика звали Жозефом Бара, что было ему четырнадцать лет и что на требование роялистов восславить короля он гордо крикнул: «Да здравствует Республика!»

Я вспомнил о подвиге французского мальчика, прочитав трагическую фантазию Александра Буравского «Второй год Свободы...» («Гильотина для Робеспьера»). Штык, вонзившийся в детскую грудь, и звонкий крик «Да здравствует Республика!» соединили мое детское восхищение перед благородством ребенка с благородством неподкупного Робеспьера, величайшего из вождей французской революции.

Великие революции можно сравнить только с мировыми катаклизмами, когда раскалываются материки, на месте цветущих долин вздымаются безжизненные горы, моря выходят из берегов и пламя неистовых вулканов переплавляет вчерашний гранит. Сдвигаются пласты, крошатся монолиты, и солнце надолго меркнет в дыму и ужасе.

И все измеряется иными мерами, ибо меняются точки отсчетов системы координат. И заблудшие народы долго, очень долго приноравливаются как к новому времени, так и к новым ценностям. А гении пишут «Скифов» и «Двенадцать» и призывают слушать музыку революции.

Но, для того чтобы вычленить эту музыку из рева пожаров и толп, из грохота выстрелов и падающих авторитетов, из стона жертв и самой земли, нужно найти в себе силы забыть привычное. Привычный порядок, привычные страсти, привычные законы человеческих отношений, привычную форму драматургии. Нужно вздыбить самого себя, собственный темперамент, собственное сердце — и стать свободным. И писать свободно, как свободно пишет собственную историю сама революция.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В мастерскую художника Давида пришли парижане, среди них Барер, Колло, Ленде, Сент-Андре, а также юноша Ополченец.

ДАВИД. Да, это будет небывалое в истории зрелище! Воистину народный праздник!.. *(У карты Парижа.)* Общий сбор на площади, где раньше стояла Бастилия. На ее месте мы воздвигнем монументальную статую Природы. Из сосков ее грудей будет литься вода. Ансамбль называется «Источник возрождения»... Председатель Конвента, наполнив чашу до краев, первым отопьет этой воды, затем передаст дальше, депутатам... Представьте: чаша идет по кругу, депутаты целуются по-братски, народ поет «Марсельезу»...

БАРЕР. Давид, женщины будут рыдать!

ДАВИД. И процессия двинется по бульвару Пуассоньер. Народные общества со знаменами, за ними — члены Конвента в полном составе... А еще год назад это был бы надутый Людовик! Подумать только: король вершил судьбами страны! Ныне это делает сам народ — через своих представителей!.. И как все красиво! Букеты пшеничных колосьев и фруктов... Развевающиеся шарфы, шляпы с трехцветными кокардами... А в центре группы — носилки с открытым ковчегом, в котором священные тексты Декларации прав и Конституции!..

Аплодисменты.

ОПОЛЧЕНЕЦ *(бормочет)*. А половина департаментов — в мятеже...

ДАВИД *(продолжает)*. Ну и наконец — народ, высокочтимый суверенный народ в своей массе!..

ОПОЛЧЕНЕЦ *(громче)*. Как, и народ тоже? Но это же неуправляемая толпа!

ДАВИД *(повысив голос)*. Стройными колоннами пройдут перед нами все члены общества, слившиеся в единую семью. Революция упразднила сословия! Отныне все французы рождаются равными и свободными!.. *(Меняет эскиз.)* А замыкают шествие военные.

ОПОЛЧЕНЕЦ. Наконец-то! А то еще высокочтимый народ разбежится...

БАРЕР. Колло, что ты молчишь? Прикажи этому наглецу заткнуться!

ДАВИД *(громко)*. На колеснице, запряженной восьмеркой белых лошадей,— урна с прахом героев, отдавших жизнь за Отечество!.. *(Ополченцу.)* Ну, поерничай еще! Ведь для таких, как ты, я вижу, нет ничего святого!

ОПОЛЧЕНЕЦ *(усмешка)*. Сегодня мой отряд уходит в Вандею, Давид... Так что, похоже, я и сам скоро стану урной с прахом...

Короткая пауза.

ДАВИД *(продолжает)*. Колесница украшена гирляндами и венками, вокруг в курильницах сжигаются благовония... Кавалерия, затем пехота...

ОПОЛЧЕНЕЦ *(подхватывая)*. Флот, паляций из пушек!.. Ведь ради такого случая можно прорыть и канал вдоль бульвара?..

ДАВИД. Колло! У нас мало времени, а впереди еще пять остановок шествия.

ОПОЛЧЕНЕЦ *(ахнув)*. Сколько?

БАРЕР. Хватит!

ОПОЛЧЕНЕЦ *(Давиду)*. И все — с таким же размахом?

ДАВИД. А ты хотел бы, чтоб празднование 10 августа...

ОПОЛЧЕНЕЦ *(перебил)*. Я хотел бы знать: сколько все это будет стоить?

ДАВИД. Чтоб поторговаться?.. А сколько стоит Революция, лавочник? Сколько стоит память о погибших? Сколько...

БАРЕР. Он забыл, что он не на рынке!

ОПОЛЧЕНЕЦ. А по-моему, как раз на рынке, гражданин!.. *(Давиду.)* И ты мне очень напоминаешь ловкого торгаша, Давид... Который с наглой рожей, за огромные деньги всучивает...

ДАВИД *(хватаясь за пистолет)*. Я тебя пристрелю, мерзавец!

ОПОЛЧЕНЕЦ. Но не обжулишь, прощелыга!..

КОЛЛО. Граждане!!

Давида и Ополченца хватают и держат.

Я понимаю, Давид, художникам порой свойственна излишняя горячность...

ДАВИД. Я прежде всего революционер! И депутат Конвента!

КОЛЛО *(Ополченцу)*. А тебе, гражданин, пожалуй, придется уйти.

ОПОЛЧЕНЕЦ *(усмешка)*. Потому что здесь собрались не свободно обсудить, а лишь поаплодировать Давиду — влиятельному члену Комитета общественной безопасности?

И это удалось Александру Буравскому.

Я не помню другой такой страстной, такой горькой и такой умной работы. Это не пьеса, это нечто значительно большее, чем привычная нам форма; на ум приходят сравнения, мало определяющие жанры литературы — фреска, эпическая аллегория, трагическая притча о замкнутом круге зла. Но прежде всего это произведение — прекрасная литература, населенная титанами.

Здесь все в масштабах сверхчеловеческих. Сверхчеловеческие страсти и сверхчеловеческие подлости. Сверхчеловеческие жестокости и сверхчеловеческие восторги. Сверхчеловеческое зло и сверхчеловеческое благородство осмысленного долга. Здесь нет привычного нам быта — здесь господствует сама Революция, ослепившая всех неистовым торжеством и неистовой яростью. Здесь нет квартир и интерьеров: сама Франция, буйная, беспощадная и жестокая, в неистовости своей врывается в кафе и кабинеты, в перешептывания интриганов и шепот влюбленных. Комитеты вершат судьбами вчерашних кумиров, и темная, свирепая Вандея мстит ни в чем не повинным юношам устрашающей жестокостью фанатиков.

И, наконец, Максимилиан Робеспьер. Мы знаем трех китов Великой французской революции: Робеспьера, Марата и Дантона. Кинжал Шарлотты Корде не просто сразил Марата: он нарушил равновесие триумвирата, открыл дорогу кровавому Эберу и запустил конвейер смерти. Да, восставший народ отчаянно, с небывалым доселе мужеством сражался на всех фронтах. Да, Карно создал не только армию в миллион двести тысяч, но и новую, революционную тактику стремительных штыковых ударов, которой потом воспользуется Наполеон. Да, из свинцовых гробов изготовлялись ядра и пули, колокола переливали в орудия, и великий химик Бертолле бессонно трудился во имя восставшего народа. Но за спиной этого народа уже действовала машина террора, и тяжкий нож гильотины поднимался и опускался, поднимался и падал, почти без перерыва. Началось героическое безумие — вторая фаза Великой революции.

И только один человек начинает разбираться в этой новой системе координат, предложенной Революцией. Великий человек, запустивший однажды конвейер уничтожения, со все возрастающим ужасом наблюдает не только за его работой, но и за теми изменениями, которые происходят под воздействием террора. О, как хорошо он знает, насколько нужны народу светлые идеалы и милосердие, но некому больше нести знамя и некому творить добро. Знаменосцу и Хирургу отрубают руки, и сам Робеспьер во имя умиротворения вынужден предать смерти обоих мучеников Революции. Безрукие юноши неотвязно преследуют его не только потому, что он послал их на гильотину: они последние капли крови, переполнившие чашу необходимости. Революция уже захлебывается в жестокости, муках и крови. И, все поняв, Робеспьер принимает решение, соотносимое лишь с решениями героев эпических сказаний: для того чтобы остановить сверкающий нож Революции, надо самому лечь под него. Может быть, тогда... Может быть...

Но, когда голова неподкупного Робеспьера падает с эшафота, только один человек обращает на это внимание. Только ОДИН, и напрасны его призывы к окружающим: им уже нет дела ни до Робеспьера, ни до Революции — Великий Террор свершил свое самое страшное деяние. И тогда тот, одинокий, начинает выкрикивать «Марсельезу»:

— «Вперед, сыны Отчизны милой!..» Мы победили!..

Да, мы победили, ибо благородство рано или поздно победит зло. И голос одинокого будет поддержан мощным хором всего народа. Мы победили, люди, слышите? Несмотря ни на что, мы все-таки победили!..

Борис ВАСИЛЬЕВ

КОЛЛО. Слушай, парень!..

ЛЕНДЕ *(вдруг)*. Колло!..

КОЛЛО *(раздраженно)*. Что еще, Робер?

ЛЕНДЕ. Да нет, я просто хотел сказать... Можно, наверно, дать и парню объясниться, раз уж он...

СЕНТ-АНДРЕ *(робко)*. В принципе это ведь его право, Колло?..

Колло вопросительно смотрит на Давида, тот с возмущением вырывается из держащих его рук и демонстративно отворачивается.

ОПОЛЧЕНЕЦ *(усмешка)*. Я, собственно, про народ... Тот самый, «высокочтимый, суверенный...». Вот интересно: а для чего он все-таки свергал короля, упразднял сословия? Для чего вообще вся эта свобода — чтоб пользоваться ею по-настоящему или только чтоб восхвалять ее без конца: «Да здравствует!.. Слава!..»

БАРЕР. Колло, прости, но я лично не могу этого слушать!

КОЛЛО. Сядь, Бертран.

БАРЕР *(тотчас)*. Хорошо. *(Сел.)*

ОПОЛЧЕНЕЦ. Празднества — их все чаще ты желаешь, Давид... Даже из смерти Марата вы ухитрились устроить... *(Опережая разъяренного Давида.)* Однако, граждане депутаты!.. Стало быть, фанфарами теперь будем утолять голод? И знамен побольше — за ними не видно лохмотьев!.. А кто там возмущается в очередях?.. Не надо!.. Все организованно пляшем «Карманьолу», поем «Марсельезу», Давид запевает... А еще, говорят, унижаться каждый раз приходится перед спекулянтами, чтоб достать продукты? Не стыдно, граждане? Надо быть выше этого!.. Ах, у вас подводит желудок? Зато идеи Жан-Жака Руссо воплощены ныне в величественных скульптурах гениального Давида!

БАРЕР. Давид, и ты молчишь?

ОПОЛЧЕНЕЦ. Да, Давид, что ж ты молчишь? Давай дружно, хором — вместо обеда: «Да здравствует Революция!» Вместо одежды: «Да здравствует великая, единственная, всех победившая партия Горы!» Вместо крыши над головой — радостно, во всю глотку: «Слава бессмертным вождям нашей великой...»

БАРЕР. Это измена!!

ОПОЛЧЕНЕЦ *(уже у двери)*. Побольше барабанов, господа. И, конечно, солдат, а то мало ли что?.. *(Ушел.)*

Короткая пауза.

БАРЕР. Его надо задержать! Немедленно!

ЛЕНДЕ. Да сядь же ты наконец!

БАРЕР. Давид!

ДАВИД *(Колло)*. Я могу наконец продолжить?

КОЛЛО. Да, конечно... Извини, что так получилось...

БАРЕР. Понимаю... *(Сел.)*

ДАВИД. Итак... на чем я остановился?

КОЛЛО. На военных, Давид. Они должны охранять... то есть, я хотел сказать, замыкать шествие.

ДАВИД. Да, верно... *(И не выдержал. Вслед Ополченцу.)* И это солдат Республики?.. Лавочник! Самый настоящий лавочник, не видящий дальше своего носа!..

БАРЕР. Хуже!

ДАВИД. Голод?.. Но я скажу больше: пять монархий, вооруженных до зубов, теснят нас со всех сторон! Внутренние распри и мятежи сотрясают Францию!.. Очереди, лохмотья?.. А ополченцы, идущие в бой босыми? А осажденные в Майнце, съевшие всех кошек, мышей, крыс, но не сдающиеся!.. *(Не сразу.)* Сколько денег вы отпустите мне на праздник? Сто, двести? Триста тысяч? Но их не хватило б, чтоб накормить и пять из сорока восьми секций Парижа! Зато вся Франция, весь наш многострадальный народ лишились бы... *(Жестко.)* Да, мы еще не в состоянии дать всем хлеба вдоволь. Но мы можем и обязаны поднять дух народа! Укрепить его в вере! Показать, какую великую роль играет он в истории!.. *(Не сразу.)* Оборванная? Да! Голодная? Да! Нищая? Да, да, да!! Но что же делает Франция? Воет от голода? Жалко тянет руку за милостыней?.. О, как, наверно, хотели бы этого наши враги! Но мы не подарим им такой радости! Франция будет ликовать! Несмотря ни на что! И явит миру пример такого воодушевления, такой веры в будущее, какой еще не знали века!..

И тотчас празднество, точнее, его апофеоз. Толпа нарядных людей с различными символами в руках. Полумрак. Торжественно горят факелы, музыка!.. Широкие ступени ведут в глубину и вверх, к подножию колоссальной статуи, теряющейся в темноте... На верхней ступени — председатель Конвента.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(Барер)*. О Природа! Пусть эта живительная вода, брызнувшая из твоих сосков... пусть эта чистая влага, напоившая первых французов, осветит в этой чаше братства и равенства клятву, которую Франция дает тебе в этот день, самый прекрасный, какой озаряло солнце с тех пор, как оно сияет в безбрежном пространстве!!

И, отпив глоток, председатель передает чашу дальше, вниз по цепи. Каждый, кто получает чашу, торжественно провозглашает:

— Да здравствует Революция!

— Да здравствует Республика!

— Да здравствует Свобода!

— Да здравствует Равенство!

И, наконец, последний:

— Народы мира, завидуйте нашему счастью, и пусть оно послужит для вас примером!..

2

Конец осени. Раннее утро. Пустынно. Запертое кафе. В дверь, в закрытые ставни колотит Дантон.

ДАНТОН. А ну открывай, черт тебя побери! Хозяин!.. Не то я разнесу дверь в щепки, слышишь? *(Хохочет.)*

Приоткрывается окошко в двери.

ХОЗЯИН *(глухим, сонным голосом)*. Что вам от меня нужно, сударь? В такую рань?

ДАНТОН. Ах, «сударь»! Да еще на «вы»! *(Хватает хозяина за нос.)* Попался? Какой у тебя скользкий нос... Ну, а теперь отвечай: какой сейчас год, изменник?..

ХОЗЯИН *(стонет)*. Девяносто третий, су...

ДАНТОН. Ты все еще считаешь от Рождества Христова, негодяй?

ХОЗЯИН. Простите, второй год Свободы... *(Взвыл.)* Сударь, больно!!

ДАНТОН. Опять «сударь»?

ХОЗЯИН. Гражданин!

ДАНТОН. Так-то оно лучше... *(Отпускает.)* Ну, проснулся наконец, бездельник? Узнаешь хоть, кто перед тобой?

ХОЗЯИН. Господин... гражданин Дантон!..

Хозяин появляется в ночной рубашке и колпаке, накинув на плечи одеяло. Покрывает скатертью стол.

ДАНТОН *(уже за столиком. Добродушно)*. Сколько меня не было? Не больше двух месяцев, а он меня уже не узнает!.. Что, в Париже появился еще один такой бас? У кого?.. Может, наш хилый Робеспьер вдруг...

ЖАК *(в испуге)*. Тише, сударь!.. То есть гражданин...

ДАНТОН. Тише? *(Недоуменно озирается.)* Но ведь никого нет?

ЖАК. И все-таки, гражданин Дантон... на всякий случай...

ДАНТОН. Малый, от тебя разит таким страхом, что и вправду подумаешь, будто за нами следят... *(Озирается.)*

ЖАК *(орет в сторону дома)*. Что вы прилипли к окну? Идите на кухню!

Со стуком падает дощечка в дверном окошке.

(Дантону.) Это жена. И дочь. Они испугались.

ДАНТОН *(со смехом)*. Решили, что тебя пришли арестовывать?.. Жак, но разве я похож на этих тихонь из Комитета безопасности?

ЖАК. Я не разглядел тебя, гражданин. А когда ты схватил меня за ноздри... да, я решил, что ты оттуда.

ДАНТОН. Нда-а... Но тебя-то за что? Арестовывают подозрительных, а ты... Ты со своим кафе, Жак, уже сто лет у всех на виду! Кто только у тебя не бывает! И из Конвента, и из Коммуны, и из Якобинского клуба... Небось даже из Комитета заглядывают, а?..

ЖАК *(уныло)*. Вот и тебе это сразу пришло на ум...

ДАНТОН *(не поняв)*. Что пришло?..

ЖАК. Нынче, конечно, осторожнее, куда как осторожнее... но политики все же обсуждают свои новости. Крутясь меж столиков, я невольно многое слышу и... *(С отчаянием)*. Жорж, я ведь, несомненно, должен передавать эти новости за границу.

ДАНТОН. Ты?!

ЖАК. Но ведь это логично! И для эмигрантов — посадить сюда шпиона, и для Комитета — искать шпиона именно здесь... Разве не так?

ДАНТОН. Недурно... Недурно, дружище! Просто готовый донос.

Молчание.

ЖАК. Также весьма опасны мальчишки, торгующие газетами.

ДАНТОН *(рычит)*. Мальчишки тоже? Но они-то чем, трус?!

ЖАК. Я всегда стараюсь отогнать их от столиков. *(Вкрадчиво.)* Особенно тех, кто торгует изданием гражданина Эбера, этим грязным листком...

ДАНТОН. Ну, этих нужно не только гнать, их... *(Сдержавшись.)* Эбер напоминает мне деревенского лекаря. На все болезни у него один рецепт — кровопускание! Дай ему волю — он бы гильотинировал пол-Парижа.

ЖАК. Пол-Парижа?.. Жорж, ты слишком мягок к Эберу...

ДАНТОН. Ничего, я скоро раздавлю эту гадину!.. *(Вдруг встал, смотрит в сторону.)*

ЖАК *(бормочет)*. Пол-Парижа!.. Пол-Парижа и без Эбера уже...

ДАНТОН *(указывает)*. Жак, ты не видишь, кто это идет?

ЖАК. Какой-то рабочий...

ДАНТОН. Ты уверен? Что-то я стал неважно видеть...

ЖАК. Ты кого-то ждешь, Дантон?

ДАНТОН *(не ответил, сел)*. Ладно, продолжим... Итак, ты не хочешь, чтоб в твоем кафе читали газеты «крайних». Но ведь это весьма похвально! Робеспьер не спускает с них глаз и ждет лишь случая, чтобы...

ЖАК. Все это так, Жорж, однако... если слишком ретиво отгонять мальчишек Эбера от столиков, некоторые смогут подумать... *(Запнулся.)*

ДАНТОН. Ну, ну, смелей, Жак! Мне просто интересно: что еще изобретет твой воспаленный от страха мозг?..

ЖАК. Что я, напротив, сочувствую «снисходительным», Жорж. Если не «крайним», так «снисходительным», верно?..

ДАНТОН *(не сразу, тихо)*. Это... тоже подозрительно?

ЖАК. Подозрительнее некуда, Жорж...

Молчание.

Неподкупный — он ведь и с вас не спускает глаз... А? *(Вдруг указывает.)* Смотри, Жорж! Видишь — ведут?.. Они арестовывают рано утром и ночью. Днем поспокойнее. Днем мы все ходим смотреть, как работает гильотина. Некоторые даже держат пари: кто следующий?

ДАНТОН. Подойди-ка сюда... *(Внезапно хватает Жака.)* Я Дантон, слышишь, мерзавец?! Дантон!.. Я сделал эту Революцию!.. Я ее вождь!.. И пусть кто-нибудь попробует тронуть меня, будь я хоть трижды «снисходительным»!.. Они забыли мертвую хватку Дантона?.. Я им напомню! *(Отпускает Жака.)*

ЖАК. Но пока... если бы можно было тебя попросить, гражданин... немного потише произносить это имя...

ДАНТОН. Какое имя?

ЖАК *(робея)*. Свое, Жорж. Ты сам сказал, что всегда неплохо относился ко мне...

ДАНТОН *(с грустной усмешкой)*. Ты мог бы стать отменным доносчиком, Жак. Лучшим во Франции! От которого не уйти никому!.. *(Помешкав.)* При условии, что доносил бы на самого себя.

ЖАК *(грустно)*. Тебе кажется, ты изрекаешь парадоксы, Жорж? Но именно так я и сделаю. Скоро. Когда уже совсем не будет сил бороться со страхом.

Молчание.

ДАНТОН. Интересные времена наступили, а, Жак?..

ЖАК *(вздохнул)*. А как все хорошо начиналось, Жорж!.. Отменили титулы, перед аристократами уже не надо было лебезить, чтоб не получить в зубы! И вообще они стали расплачиваться! Не то что прежде: нажрет, напьет, нос кверху — и пошел!.. А как разгулялась свобода!.. Эти выборы в Конвент, когда все из кожи вон лезли, чтоб только понравиться мне, избирателю!.. А сам Конвент!.. Ты помнишь Верньо? Тонкий, изящный, а туда же, лезет, нападает — и на кого, Жорж? На Марата, саму ярость!.. А тот же Робеспьер? Не сейчас, тогда... С этой его сухой, четкой логикой... Как он добивал, просто доканывал Бриссо, а ведь тот был хитер!.. Жорж, вспомни!.. Кондорсе возвышенно мыслит, Лежандр потеет, Фабр смотрит в лорнетку... Да ты сам, сам со своим басом, заставляющим дрожать стекла!.. *(Грустно.)* А сейчас? Ты заметил, сколько вообще пустых скамей?.. *(Шепотом.)* Знаешь, что сказал Эбер? Вот прямо за этим столиком?.. Нарядите, говорит, кукол и посадите их в Конвент. Вы не увидите никакой разницы!.. И он прав, только ему это нравится, а я от этого плачу!..

ДАНТОН. Но сейчас война, Жак...

ЖАК. И война, и Революция... Слышали! *(Негромко, но со страстью.)* Я ведь тоже был у Бастилии 14 июля, Жорж. Пожалуй, даже брал ее вместе со всеми!.. И 10 августа, когда свергали короля... И даже в этом мае — разве я не свистел с толпой, прогоняя жирондистов из Конвента?.. Жорж, поверь... Я никогда не отказывался делать нашу Великую революцию! Но... *(Тише.)* Мы ведь делали ее не для того, чтоб продолжать ходить в драных штанах, верно? Мы свергли аристократов... чтоб, наверно, все-таки самим на их место, а?..

ДАНТОН. Ты шутишь, Жак?!

ЖАК. Серьезен как никогда!

ДАНТОН. Значит, ты издеваешься надо мной?

ЖАК. Но разве ты сам не сделался богачом за это время, Жорж?

ДАНТОН *(орет)*. Иди!.. Иди, чтоб я не придушил тебя — тут же, на месте!..

ЖАК *(помешкав, сухо)*. Что тебе принести, гражданин?

ДАНТОН. Воды!.. Ледяной!

Жак кивнул и почти вошел в дом.

И еще... *(Усмешка.)* Будешь писать донос на себя — не забудь прибавить, что во время беседы с подозрительным «снисходительным» Дантоном ты был в белом колпаке!! *(Хохочет.)*

Жак судорожно сорвал колпак с головы.

А почем я знаю, что это всего лишь ночной колпак? Он белый, как роялистская кокарда!..

ЖАК *(взмолившись)*. Жорж!..

Дантон отворачивается. Жак скрывается в доме. Возникают крики газетчиков: «Газеты!! Покупайте утренние газеты!»

(Зовет.) Эй, малый, поди-ка сюда!

Входит газетчик.

Какой политикой торгуешь, паренек?

ГАЗЕТЧИК. «Защитником Франции», гражданин. В эту газету пишет сам...

ДАНТОН *(перебил, вынул из кармана купюру)*. Ну, а как ты относишься к ассигнациям — так же уважительно?..

ГАЗЕТЧИК *(загорелись глаза)*. Вы хотите купить сразу все?!

ДАНТОН. Э, нет... этот мусор мне вообще не нужен!.. Покрутись здесь минут десять. А как увидишь некоего господина... Господин весьма серьезный... Должно быть, во фраке, в напудренном парике... и, вероятно, в очках.

ГАЗЕТЧИК *(тише)*. А может, в двух парах очков, а, гражданин?.. Одни на носу, а другие на лбу... *(С подчеркнутым сожалением.)* Он все хуже и хуже видит, наш дорогой...

ДАНТОН *(перебил)*. А ты смышленый мальчишка, я погляжу!.. Так, значит, свистнешь?

ГАЗЕТЧИК. Будет сделано, гражданин!.. *(Побежал, и вдруг резко остановился. Обернулся. Тихо.)* Гражданин...

ДАНТОН *(добродушно)*. Что, малыш?

Газетчик насупился, молчит. Вынул из кармана купюру, смотрит на свет.

(Усмешка.) Боишься, всучил тебе фальшивые?

ГАЗЕТЧИК *(не слыша)*. Гражданин, вы... вы намерены убить нашего дорогого...

ДАНТОН *(быстро)*. Тише!.. *(Оглянулся, подошел к газетчику, схватил его за плечи.)* Ты спятил?

ГАЗЕТЧИК. Утро, никого вокруг... Он пойдет этой улицей в Комитет, я вам свистну — и вы... *(Замахивается как бы кинжалом.)*

ДАНТОН *(не сразу, с отвращением)*. Ну что ж, беги! Ты успеешь донести на меня, если поторопишься!..

ГАЗЕТЧИК *(глухо)*. Я свистну. Но вы мне заплатите... в десять раз больше. И не в бумажках, а в звонкой монете.

Дантон опешил. Молчание.

ДАНТОН *(наконец, с трудом)*. Как тебя зовут, мальчик?

ГАЗЕТЧИК. Жан-Поль. Я горжусь своим именем!

ДАНТОН. Потому что это имя Марата? Но ведь ты... предаешь Революцию.

ГАЗЕТЧИК. Я?! Да кого угодно спросите... Я кишки выверну ради Революции! Не задумавшись!.. Я уже и ранен был, пуля попала вот сюда... *(Показывает.)*

ДАНТОН *(тихо)*. Как же получилось, что за деньги, пусть даже в звонкой монете, ты готов продать жизнь...

ГАЗЕТЧИК *(глухо)* Я кормлю семью, гражданин. Мать больна. Отец в ополчении, воюет с Австрией... Может быть, уже убит. Сестра...

ДАНТОН. Но это ведь жизнь вождя!..

ГАЗЕТЧИК *(не глядя на Дантона)*. У Революции было много вождей. Марата убили жирондисты... Жирондистов казнил Робеспьер... Но Революция ведь не остановилась?..

Молчание.

ДАНТОН. А меня... меня ты узнал?

ГАЗЕТЧИК *(не глядя)*. Кажется... *(Не сразу)* Да, я узнал тебя, гражданин...

ДАНТОН. Значит, если бы кто-то подстерегал и меня...

ГАЗЕТЧИК *(не выдержав)*. Сударь!.. Сударь, простите

меня!.. *(Пытается поцеловать Дантону руку.)* Я еще мал, глуп... Сударь, умоляю вас!.. *(Сует Дантону купюру.)* Вот, возьмите обратно! Ну возьмите же!!

ДАНТОН *(вырывает свою руку)*. Иди! А деньги отдашь матери... *(с презрением.)* Иди, я сказал!

ГАЗЕТЧИК *(робко)*. А если я его увижу?

ДАНТОН. Не надо. Я сам... Мне просто нужно поговорить с ним...

ГАЗЕТЧИК. Да, да, конечно... Вам противно меня видеть. Я уйду. *(Но вновь останавливается. Совсем потерянно.)* Гражданин Дантон!..

ДАНТОН *(грубо)*. Что еще?

ГАЗЕТЧИК. Но, выходит такое дело... Такая штука получается, что теперь вы должны донести на меня. Ведь я, выходит такое дело...

ДАНТОН. Иди!.. Малыш, прошу тебя, уходи!..

ГАЗЕТЧИК *(помешкав)*. Правильно, ведь я виноват... *(Уходит.)*

Пауза. Из дома выходит Жак.

ЖАК. Мне пришлось охлаждать воду, была лишь теплая...

ДАНТОН *(повернулся и вскрикнул)*. О боже, что это?!! *Он увидел, что Жак, оставшись в ночной рубашке, сменил лишь колпак — теперь на нем алый, фригийский, в котором он выглядит идиотски.*

ЖАК *(ровно)*. Фригийский колпак, Жорж. Колпак Революции...

ДАНТОН. Чучело!.. Нет, вы только посмотрите на него!.. *(Хохочет.)* Уж тогда хоть бы переоделся, трус!..

ЖАК *(ровно)*. Мне было не во что. Пока я с тобой разговаривал, моя супруга уложила в корзину все мое белье. А поверх еще башмаки, сюртук, кое-что из еды... и даже походную кровать.

ДАНТОН. Она любительница пошутить, Жак?

ЖАК. Она провожала меня в тюрьму, Жорж.

Молчание.

ДАНТОН. Поставь стакан. У тебя так дрожат руки — ты расплещешь всю воду... *(Властно.)* Поставь стакан!

ЖАК *(вдруг взрыв)*. Это ты предложил закон о подозрительных, Дантон!!! И создал трибунал!.. Ты, ты, вождь Революции, Жорж Дантон!!!

ДАНТОН *(силой сажает Жака на стул, сует ему стакан ко рту)*. У тебя припадок, Жак. Постарайся взять себя в руки.

Жак пьет, двумя руками держа стакан.

(Не сразу.) Я сам не понимаю, что происходит... Эти казни... И уже Сен-Жюст, правая рука нашего Неподкупного, изрекает: «Свобода должна победить какой угодно ценою...» Конечно, Сен-Жюст молод... но послушай дальше: «Нужно наказывать не только предателей, но и равнодушных, нужно наказывать всякого, кто безразличен к республике и ничего не делает для нее...» *(Не сразу.)* То есть... скольких же?.. *(С горечью.)* Этот закон я вносил в Конвент? Такой трибунал создавал?!

Сбоку появляется Робеспьер — незаметно.

Так я отменю закон — и разгоню к черту трибунал!.. Я вернулся. Жак! *(Яростно.)* Ну, а если Робеспьеру понравилось одному править Францией...

РОБЕСПЬЕР *(тусклым, несильным голосом, с подобием улыбки)*. Могучий Дантон уже грохочет, едва вернувшись в Париж?..

ДАНТОН *(вздрогнув)*. Максимилиан?..

ЖАК *(вскочив)*. Гражданин Робеспьер!..

РОБЕСПЬЕР *(Дантону)*. К сожалению, я очень спешу, Жорж. Но я рад, что ты уже здоров и полон сил. Увидимся в Конвенте. *(Собрался уйти.)*

ДАНТОН. Максимилиан... Ты даже не хочешь обнять меня — по якобинской традиции?

РОБЕСПЬЕР. Извини... я действительно спешу, Жорж. *(Подобие улыбки.)* Я работаю на хозяина, имя которому... Отечество. *(Уходит.)*

Молчание.

ЖАК *(восхищенно)*. Как он красиво говорит!..

ДАНТОН *(мрачно)*. Красиво... Так с друзьми не разговаривают.

ЖАК *(волнуясь, торопливо, но тихо)*. Дантон! Знай, он уже правит Францией и никогда, ни за что не станет делиться ни с кем! Ни с тобой, ни с Эбером... Лучше он отрежет вам головы! Тысячи голов, слышишь? И твою тоже, слышишь, Жорж? И твою, и мою...

Раздается барабанная дробь, и появляется Глашатай в форме национального гвардейца.

ГЛАШАТАЙ. Граждане Парижа! Слушайте декреты Национального Конвента! *(Дробь, потом читает.)* Во имя спасения Революции и Республики и ни на миг не забывая о Конституции — самой демократической из всех, что когда-либо знало человечество. Слушайте! *(Вновь читает.)* Конвент постановляет: отсрочить введение Конституции в действие — вплоть до окончания всех войн и подавления всех бунтов!.. *(Дробь.)* Всегда помня, что избирательная система, добытая Францией в тяжелой борьбе,— самая демократическая и свободная в мире... Слушайте! *(Дробь.)* ...не распускать и не переизбирать Национальный Конвент, сделав его несменяемой верховной властью нации,— вплоть до окончания всех войн и подавления всех бунтов! *(Дробь.)* И, наконец, заверяя нацию, что деспотия одной или нескольких личностей будет и впредь главным врагом ее, а демократия и свобода — высшей ее целью. ...Слушайте все!.. *(Читает.)* ...предоставить Комитету общественного спасения всю полноту власти! Ибо простое выполнение законов, предназначенных для мирного времени, было бы недостаточным среди окружающих Республику заговоров!.. И да поймет нация, что только жестокой необходимостью были продиктованы эти решения!..

3

Комитет общественного спасения. Вечер. Горят свечи. В комнате Колло, Д'Эрбуа, Карно, Барер, Ленде, Жан Бон Сент-Андре. Каждый за своим столом. Перед столом Барера стоит переписчица.

ПЕРЕПИСЧИЦА *(Бареру)*. Я подготовила приказ, гражданин Барер.

БАРЕР. Спасибо, Катрин. Подожди, не уходи. *(Читает.)* Что ж, все в порядке... *(Расписывается на приказе)*. Отдай Колло.

Переписчица относит приказ Колло.

КОЛЛО *(читает)*. Очень хорошо. *(Расписывается)*. Отдай Карно.

Переписчица относит приказ Карно.

КАРНО *(едва начав читать)*. Колло, тут что-нибудь есть про армию или одни внутренние дела?

КОЛЛО *(напряженно)*. Внутренние...

КАРНО. Ну, раз так... *(С маху подписывает.)* Отдай Ленде.

Переписчица идет к Ленде.

ЛЕНДЕ. Опять из Комитета общественной безопасности? *(Бареру.)* Бертран, почему я должен это подписывать?

БАРЕР. Таков порядок, Робер.

ЛЕНДЕ *(неохотно читая)*. Колло! Ведь здесь ни слова о продовольствии, верно?

КОЛЛО. Верно, Робер. Ни об армии, ни о продовольствии...

СЕНТ-АНДРЕ *(со своего места)*. И, вероятно, о флоте тоже ничего?..

КОЛЛО. И о флоте ничего, Андре...

ЛЕНДЕ *(Бареру, неуверенно)*. Все-таки странный порядок, а, Бертран? Нелепый какой-то... Почему приказ Комитета общественной безопасности должны подписывать мы, Комитет общественного спасения? У нас совсем другие функции!

КОЛЛО. Ну, почему же, Робер! Порой очень схожие... Как, например, в данном случае.

ЛЕНДЕ. Да? Ты знаешь, Колло, а я этого не нахожу... Впрочем, у нас и в нашем Комитете разные функции: у тебя — одни, у меня... *(Ткнул в бумагу.)* Нет, ну, скажите: я-то тут при чем?.. Я здесь для того, чтобы кормить патриотов, а не...

БАРЕР *(кричит)*. Ленде!!

Ленде замолкает.

(Переписчице.) Катрин, выйди... Нет, приказ оставь. Когда будут подписи, мы тебя позовем.

Катрин выходит.

(Резко.) Ленде, запомни раз и навсегда: все, что тебе не нравится или впредь не понравится, ты будешь держать глубоко при себе. А делиться своими мыслями — только с нами! И без свидетелей! Ясно? Чтоб не было ни одного чужого уха, ты понял?!

ЛЕНДЕ. Да, Бертран; я виноват...

БАРЕР. Теперь живо подписывай.

КОЛЛО *(не дает Ленде подписать)*. Подожди, Робер... *(Бареру)*. Сейчас мы одни, не правда ли? Вот я и хочу, что Ленде до конца поделился с нами своими мыслями. *(Ленде.)* Бертран прервал тебя, когда ты сказал, что ты «здесь для того, чтоб кормить патриотов, а не...». А не — что, Ленде?

ЛЕНДЕ. Колло, уже поздно, а мне еще много считать.

КАРНО. Вообще сейчас не время для споров!

КОЛЛО. К тебе у меня тоже вопрос, Карно. Я уже не первый раз замечаю, что, когда дело касается подобных бумаг, ты их подписываешь не глядя. Демонстративно не глядя! *(Сент-Андре.)* И ты, Сент-Андре, делаешь вид, будто тебя не касается ничего, кроме флота.

СЕНТ-АНДРЕ. Я отвечаю за флот, Колло.

КОЛЛО *(жестко)*. Ты отвечаешь за все. Мы здесь все отвечаем за все. Или за одно, как угодно. За Революцию!

БАРЕР. Колло, время действительно позднее...

КОЛЛО *(взял приказ со стола, ткнул в него пальцем)*. Жаль, конечно, что этот человек не аристократ. Куда там! Он беден как церковная крыса и живет один со своей собакой в грязном, сыром подвале... *(Ленде.)* Поэтому ты и сказал, Ленде, что ты здесь для того, чтоб кормить патриотов, а не?.. *(Ждет.)* Этот... *(Заглянув в приказ.)* Жак Ру некогда был священником. Говорят, и сейчас порой он продолжает богослужения для бедняков. Они даже кличку ему дали — «исповедник неимущих»... Он как-то очень ловко, говорят, умеет внушить умирающему, что после смерти его ждет лучший мир. Лучше нашего... *(Не сразу.)* Он был с нами и 14 июля, и 10 августа, и 31 мая... *(Ленде.)* Поэтому ты и сказал, Ленде, что ты здесь для того, чтоб кормить патриотов, а не?.. *(Ждет.)* Ленде, я не думал, что ты такой трус! Ты боишься довершить собственную фразу?.. *(Ждет.)* Трибунал, безусловно, приговорит этого попа к смерти, а Сансон отрежет ему голову. Но произойдет это лишь после того, как мы здесь, в Комитете общественного спасения, скрепим своими подписями данный приказ. Кое-кто — не глядя, словно и не понимаст, в чем дело... А кое-кто, оказывается, из трусости, потому что боится докончить свою собственную фразу: «Я здесь для того, чтобы кормить патриотов, а не...»

ЛЕНДЕ *(не выдержав)*. ...а не убивать их! Да! Да! Доволен?.. *(Стоит, опершись о стол, тяжело дышит.)*

Пауза.

КОЛЛО *(Бареру, кивая на дверь, ведущую в другую комнату)*. Я полагаю, пора позвать Робеспьера.

БАРЕР. Он занят. Кутон просил не беспокоить их.

КОЛЛО. Но его мнение на сей счет...

БАРЕР. Мы и так узнаем его мнение. Катрин зайдет к ним за подписью, и если подписи не будет...

СЕНТ-АНДРЕ *(встал)*. Ну, что ж, граждане, мой рабочий день окончен...

КОЛЛО. Ты еще не подписал...

СЕНТ-АНДРЕ. И что?.. В конце концов я успею сделать это и завтра. Если, конечно, в моих закорючках еще будет нужда.

КОЛЛО. Послушай, Андре... Ты так жалко сейчас выглядишь! *(Оглядеся.)* Вы все!.. Неужели вы не понимаете, что все равно будете замараны этой кровью? Этой и многих других?.. Сейчас такое время, что нельзя будет потом сказать: «Я этого не знал». Или: «Я этого не замечал». Или вы были «за» или «против». И каждый ответит за то, что он выбрал!

Молчание.

СЕНТ-АНДРЕ. Что он натворил, этот несчастный Жак Ру?

КОЛЛО. Здесь много пунктов... Но главное: в своей секции Гравильс он агитировал за немедленное введение Конституции в действие. *(С вызовом.)* Нашей Конституции!

Молчание.

ЛЕНДЕ *(робко)*. Ты уверен, что Робеспьер подпишет?

СЕНТ-АНДРЕ. Как-никак он сам столько вложил в нее. И так торопил Конвент с принятием...

КОЛЛО *(Бареру)*. Бертран, и это Революционное правительство? *(С угрозой.)* Или подсевалы Дантона, пробравшиеся в Комитет?

КАРНО. Ты все-таки поосторожней, Колло! Не то я скажу, что и в твоих песнях мне слышится нехороший мотивчик — мотивчик Эбера!

КОЛЛО *(резко)*. Ты отвечаешь только за армию, Карно? А из кого она состоит? Не из тех ли тысяч и тысяч мужчин, что поверили нам и ушли на фронт, бросив свои дома на произвол судьбы?.. Так что ж, пусть дочерей их нужда выгонит на панель, торговать своим костлявым телом? Пусть немощные старики, их отцы и матери, вообще сдохнут с голоду... *(Ленде.)* Потому что продовольствием, Ленде, которое ты с таким трудом добываешь, будут обжираться одни спекулянты и дворяне, зарывшие свое золото!..

СЕНТ-АНДРЕ. Но при чем тут Конституция?

КОЛЛО. А неужели всех этих негодяев мы оставим под защитой законов? Чтоб свобода печати позволяла им восхвалять королей, а свобода собраний — плести заговоры?.. *(Карно.)* Если б ты уже выиграл войну, Карно!.. Раздавил всех этих герцогов — йоркских, кобургских... Если б мы не восвали повсюду, куда ни ткни: с австрийцами, англичанами, пруссаками, итальянцами... Если б не бунтовали Лион, Нант, Марсель, Бордо... Весь Прованс, вся Юра... Если б Тулон не отдался англичанам, если б не резня в Вандее, где попы сделали мятежником каждого крестьянина, пользуясь его фанатизмом и тупостью!.. *(Сент-Андре.)* При чем тут Конституция, Сент-Андре?.. А разве ты не видел, как мы вязли в ней, словно в болоте? Как всякий раз, когда мы хотели нанести удар, ее демократия хватала нас за руки и держала их!.. Как без конца грызутся правые и левые, забыв, что кругом враг?.. *(Не сразу.)* Жак Ру глуп, он хотел помочь беднякам, а обратил бы их в прежнее рабство! Потому что герцоги победили бы! Да, Ленде, глупость тоже преступление сегодня... *(Помолчав.)* Я люблю свободу не меньше вашего... Но разве Комитет изобрел войну, чтоб установить диктатуру? Или все-таки война создала диктатуру?..

Молчание.

ЛЕНДЕ *(Бареру)*. И все же, Бертран, пусть девушка сначала заглянет к Робеспьеру.

КОЛЛО *(с усмешкой)*. Ты все еще надеешься, что он не подпишет...

БАРЕР *(зовет)*. Катрин!

Входит переписчица.

Пожалуйста, зайди к Робеспьеру и Кутону, они должны ознакомиться с документом...

Переписчица скрывается в соседней комнате. Молчание.

ЛЕНДЕ. Ее все еще нет...

КОЛЛО. Он читает. Он всегда все внимательно прочитывает.

ЛЕНДЕ. Так долго?

КОЛЛО. Еще и минуты не прошло... *(Помолчав.)* А я пока расскажу вам, как они казнили Шалье в Лионе. Три раза нож гильотины дробил ему шейные позвонки, но не убивал... Пока палач не сжалился и не отсек ему голову саблей. Но сначала он за ней еще сходил, а Шалье ждал!..

Молчание.

ЛЕНДЕ. Наверняка он уже прочитал. А ее все нет.

КОЛЛО. С ним еще Кутон. Он тоже должен прочесть.

ЛЕНДЕ. Кутон читает мгновенно, я сам видел! А девушки все равно...

Но в это время входит переписчица. Колло вырывает у нее из рук приказ. Усмехается. Отдает Бареру.

БАРЕР. Обе подписи... *(Переписчице.)* Они о чем-нибудь спорили?

ПЕРЕПИСЧИЦА. Нет... Прочли и сразу подписали. Молча.

ЛЕНДЕ *(подошел)*. Бертран, разреши мне взглянуть... *(Читает, потом подписывается.)* Ты был прав, Колло. До завтра! *(Уходит.)*

КАРНО *(подходит, подписывает)*. До завтра. *(Уходит.)*

СЕНТ-АНДРЕ *(подписывает)*. Завтра я уезжаю на побережье... *(Уходит.)*

БАРЕР *(встал)*. Ну, что ж... Катрин, отнеси бумагу в Комитет безопасности, если там еще кто-нибудь есть... Поздно мы сегодня... Колло, ты идешь?..

КОЛЛО. Я только продиктую Катрин несколько строк...

Барер уходит.

Катрин! Ну-ка, подойди ко мне...

Переписчица подходит.

Завтра я еду в Лион, опять надолго... *(Вдруг провел рукой по талии девушки.)* Ты всегда так строго одеваешься, Катрин? Вся такая затянутая... А ведь у тебя, похоже, очень красивая грудь. И совсем не маленькая, а? *(Смеется.)*

ПЕРЕПИСЧИЦА *(спокойно)*. Видишь, ты заметил...

КОЛЛО. Заметил, еще как заметил!.. А шейка? Вечно ты ее прячешь под этот дурацкий воротник... А знаешь, что придумали наши модницы? Вот здесь... Да, прямо на шее... Они рисуют себе такую тонкую алую полоску, неровную, словно в зазубринах... Как след от бритвы. Наверно, это дико возбуждает, а?..

ПЕРЕПИСЧИЦА *(вдруг сорвала воротник)*. Такую? *(У нее есть такая полоска.)*

КОЛЛО. О, какая шея!.. *(Гладит.)* И эта полоска... Если б еще взглянуть на твою грудь, Катрин! *(Обнимает.)*

ПЕРЕПИСЧИЦА *(кивает на дверь)*. Мы не одни, Колло.

КОЛЛО. Ты такая скромная, Катрин... Но это ведь только с виду, верно? А внутри ты огонь!.. О, я-то знаю эти тихие омуты!.. (*Тянется поцеловать.*)

ПЕРЕПИСЧИЦА (*спокойно*). А если они войдут?

КОЛЛО. Плохо... Но вот это самое «а если». Катрин... Оно все так обостряет, верно? Если войдут — плохо, а если пронесет... Ведь мы так и живем: идем до конца, не оглядываясь, с одной надеждой — пронесет!..

ПЕРЕПИСЧИЦА. Не лезь мне под юбку, Колло!

КОЛЛО. А что там — кинжал? Ты ведь как-никак из Комитета безопасности... (*Лезет, она не дает.*) Катрин, ну перестань! Я же сказал — пронесет!..

ПЕРЕПИСЧИЦА. А если нет?

КОЛЛО (*теряя терпение*). Ну, так нас казнят!.. (*Вдруг удивленно засмеялся, взял девушку за подбородок, притянул к себе.*) Ой, а ты разве еще не поняла?.. Девочка, но мы же все здесь смертники... Даже ты — маленькая переписчица невинных бумаг. (*Жестко.*) Которые сеют смерть и жестокость вокруг!

ПЕРЕПИСЧИЦА. Вынужденную жестокость, Колло. Так говорят в Комитетах...

КОЛЛО. Говорят еще, она явилась суровой необходимостью — чтоб избежать еще большей жестокости: жестокости озверевших герцогов... Говорят!.. (*Не сразу.*) Но явилась и почему-то выбрала нас. Исполнителями. Жертвами... (*Нервно.*) Да, необходимость! Но ведь противоестественная! В принципе противоестественная!.. Первый пожар был добром: он показал человеку огонь... Ну, а когда сжигали Жанну?.. Даже необходимая — она не может продлиться долго. Само сочетание: «необходимая» и «жестокость» — имеет смысл лишь на очень короткий миг! Потому что означает: не могли обойтись без нее... И все!.. Ну, а с ней? С ней обошлись? А, девочка?.. И она уже не нужна!.. (*Устало.*) Впрочем, ты меня не слушаешь...

КАТРИН (*ровно*). Ты просто оговорился. Сказал «жертвы» про нас.

КОЛЛО (*с усмешкой*). А не хочется, да?.. Но ведь тебе, хотя бы просто по роду службы, положено знать: на следующий же день после победы... Нет, что я... в тот же!.. В тот же миг, когда можно будет сказать: «Уф, кажется, обошлось...» — мы — и ты, и я... должны будем исчезнуть. Ну... как гильотина — отовсюду, даже из памяти! Понимаешь? Иначе, сегодня еще святая, она стала бы... позором, ужасом, адом нации!.. (*Не сразу.*) Уж лучше исчезнуть... (*Усмешка.*) Впрочем, я уверен: о нас позаботятся...

Молчание.

ПЕРЕПИСЧИЦА (*спокойно*). Я сейчас разденусь. Сама. (*Начинает расстегиваться.*) И ты... (*Шепотом.*) И если они войдут. — Мы будем голые, совсем голые, как первые люди!.. (*С внезапным восторгом.*) Колло, скорее!.. Я хочу, скорее! Гаси свечи!.. (*И сама гасит.*)

КОЛЛО (*грустно*). Я сейчас подумал: а тебя-то за что?..

ПЕРЕПИСЧИЦА (*не слышит*). Что?.. А одну свечу оставь!.. И ты увидишь: я вся в таких красных полосках... Вся! И грудь, и живот... и даже там! Правда, Колло, даже там!.. Как будто меня всю иссекли... будто тесак падал тысячу раз. И все на меня, на меня!.. Смертница, ты сам сказал!..

4

Бешеные аплодисменты, свист, крики: «Браво!» Свет в зале театра зажигается. В ложе — Люсиль Демулен и старый Барон.

БАРОН. Милая Люсиль, вам не совестно? Вместо того чтоб смотреть пьесу вашего друга Фабра, вы только и делали весь акт, что оглядывались: не идет ли муж? Деточка, но куда он денется? Неужели вы думаете, он способен вам изменить?

ЛЮСИЛЬ. Он знаменитый журналист. У него тысячи поклонниц!

БАРОН. И ни одна мизинца вашего не стоит, уверяю вас!

ЛЮСИЛЬ. Увы, даже красота приедается, барон...

БАРОН. А кто говорит о красоте? Я сказал «не стоят», да, но я имел в виду 100 тысяч франков приданого, которое вы принесли мужу.

ЛЮСИЛЬ. Барон, вы умеете думать о чем-нибудь, кроме денег?

БАРОН. Конечно! О недвижимости!.. За вами, кажется, давали еще и поместье — «Виллу Королевы»?..

ЛЮСИЛЬ. «Виллу Равенства», барон.

БАРОН (*вздохнув*). Да, да, сейчас многие берут себе новые имена, полояльнее. Все мы вносим посильный вклад в нашу Революцию... Люсиль, а не прогуляться ли нам по фойе? До конца антракта еще... (*Вынул часы.*) Кстати, не угодно взглянуть? Эти часики — ничего особенного, если не отстают, то спешат... Но сегодня за них можно взять раз в десять больше против первоначальной цены!

ЛЮСИЛЬ (*раздраженно*). Опять деньги!

БАРОН. В свое время их смастерил некий Исаак Руссо из Женевы... (*Доволен.*) Вот именно! Натуральный родной папаша нашего вождя и учителя Жан-Жака. Подумайте: кто ожидал такой рекламы для такой, в сущности, захудалой часовой фирмы?..

ЛЮСИЛЬ (*быстро встает.*) Господи, Камилл!

Входит Демулен.

ДЕМУЛЕН. Люсиль! Торчал в типографии с этим бестолковым наборщиком... (*Барону.*) Зато завтра, барон, постарайтесь пораньше купить мою газету. Держу пари, уже к полудню не будет ни одного экземпляра!.. Дантон прав: хватит этого повального безумия, хватит жестокости!.. Нам нужен еще один Комитет... Комитет милосердия! И пусть он поглотит все остальные!.. Кстати, как вам название, барон?..

ЛЮСИЛЬ (*в страхе*). И ты... обо всем этом... в газете?..

ДЕМУЛЕН (*весело*). Я? Ни фразы, Люсиль! Ей-богу, ни одной фразы!.. Все — Тацит! И все претензии тоже, пожалуйста, к нему... А, барон? Как вы считаете, может, и адресок полиции подкинуть? Тацит, Публий Корнелий. Историк. Рим. Древний!.. (*Смеется.*)

БАРОН. Ах, молодой человек, вы думаете, вы всех обманули?.. Тацита не тронут, а вот вы можете крупно погореть!.. Я прожил довольно долгую жизнь, и, знаете, что я вам скажу? Лучше уж открыто нападать на власть, чем лукавить и проводить всякие скользкие исторические параллели. Да!.. Потому что, когда вы, молодой человек, нападаете на власть — еще, извините, никому не известно, кто победит... А в истории, к сожалению, всегда можно узнать и финал. (*Тише.*) А что, если он вдруг некоторым образом, ну... разочарует власть? Даже огорчит?

ДЕМУЛЕН (*резко*). А я не собирался никого развлекать, барон! И потом... не так уж плохо, между прочим, напомнить власти, чем это все может кончиться. Во всяком случае, чем кончилось в Римской империи... Может, тогда она образумится и не допустит до этого? Я, конечно, зол на наше правительство, но еще больше я люблю свою Родину, барон!..

БАРОН. А теперь обернитесь в зал, Камилл... К ложе напротив...

Там появился Эбер с компанией: это, возможно, Колло, Барер, Переписчица...

ДЕМУЛЕН (*мрачно*). Эбер...

И все невольно встали, напряглись.

ЛЮСИЛЬ. Интересно, что ему понадобилось в театре?

ДЕМУЛЕН. Ищет, кого бы еще отправить на гильотину! 22 жирондистов ему мало, он требует еще семьдесят!

ЛЮСИЛЬ. Но прежде Елизавету! Которая виновна лишь в том, что была сестрой несчастной королевы...

ДЕМУЛЕН. У Эбера простая логика: казнить целыми семьями, чтоб не оставалось сирот и обиженных!..

БАРОН. Я все хочу найти в нем какие-нибудь приметы вурдалака. Клыки или когти... Знаете, Люсиль, недавно он потребовал, чтоб осужденным перестали давать водку перед казнью. Она, видите ли, придает им излишнего мужества...

ЛЮСИЛЬ. Чудовище...

БАРОН. И делать кровопускание, «дабы народ видел, как немощны и малодушны его враги»!

ДЕМУЛЕН (*не выдержав, кричит*). Эй, Эбер, это правда? Насчет кровопускания? Я тебя спрашиваю!..

ПЕРЕПИСЧИЦА (*Эберу*). Не отвечай им.

ЭБЕР (*с усмешкой*). И не подумаю...

ДЕМУЛЕН (*кричит*). Ты что, не слышишь? Может, тебе заложило уши?

БАРЕР (*тихо, Эберу*). Жак, видишь, кто с ними в ложе?.. Барон де Мец. Банкир и мошенник. Шабо и Делоне из этой дантоновской шайки он уже подкупил, точнее, это уже вскрылось. Надеюсь, вскоре и остальные окажутся за решеткой.

КОЛЛО. А там и на эшафот потихонечку...

ПЕРЕПИСЧИЦА. Жена Демулена вся в бриллиантах...

ЭБЕР. Ну, их мы тоже скоро снимем. Вместе с этой курчавой головкой!..

И вновь несутся крики из ложи Демулена.

ДЕМУЛЕН. Эбер! А может, ты и вправду не слышишь? Может, ты уже изнасиловал свои уши воплями казнимых?.. Сам виноват, надо было меньше бегать на казни!

ЛЮСИЛЬ. Кто любит сладкое, у того всегда прыщи!..

Дружный смех.

БАРОН. Ну, началось!.. Мальчики дорвались друг до друга... Ох уж мне эти кровавые игрушки!..

А перебранка продолжается: «Эбер, ты убийца!», «Вампир, ты пьешь человеческую кровь по ночам! Вместе со своими сообщниками!».

ЭБЕР *(с усмешкой, своим)*. Сейчас повторяйте за мной все, что я буду делать. Это несложно... Хорошо? *(И к противоположной ложе.)* Ну что, господа, вам весело?

ДЕМУЛЕН. Ага, открыл рот наконец!.. Сейчас мы увидим твои клыки!..

ЭБЕР. Жаль только, что с вами нет Дантона. Что ж, с ним в другой раз... *(Внезапно выхватил пистолет, навел на Демулена.)*

И тотчас вся ложа Эбера ощетинилась пистолетными дулами. Резко все смолкли...

(С усмешкой.) Сейчас вы умрете, господа. Даю вам три секунды — просто так, не знаю даже зачем...

Молчание.

ДЕМУЛЕН *(хрипло)*. Эбер!

ЭБЕР. Тихо, Демулен! Ты же знаешь, разжалобить вампира... Заодно и посмотрим: чистая ли у тебя кровь? Французская? Может, и нет, а? Может, вообще голубая? *(Помолчав.)* Ну, господа, прощайте... *(Прицелился.)*

ЛЮСИЛЬ. Нет!!! *(Вскочила, распахнув руки, как бы закрывая мужа.)* Нет, нет!..

И компания Эбера раскалывается безудержным, до слез веселым хохотом... И покидает ложу.

БАРОН *(придя в себя, кричит на сцену)*. Ну, что вы там ждете? Гасите свет, начинайте скорее!.. Аплодируйте, господа, аплодируйте!.. Оркестр, музыку!..

И звучит аккорд.

(Один в полутемном фойе утирает платком лоб, вдруг замечает одиноко стоящего Дантона.) Черт знает что... Жорж? Ты здесь?.. *(Подошел.)* Ну скажи: разве можно с кем-нибудь из них иметь дело? Они же только и знают, что грызться друг с другом, как пауки в банке!.. И знаешь почему? Разве при короле эти безродные мальчишки могли о чем-нибудь таком мечтать?.. А теперь хоть правь Францией, пожалуйста!.. Вот они и заработали локтями... И если бы только локтями!.. Послушай, если у тебя есть деньги — вкладывай их только в аристократов! Пусть они тоже не бог весть что... Но когда эти сожрут друг друга, аристократам просто уже не с кем будет воевать, они войдут в Париж просто так!.. Да!.. *(Ушел.)*

ДАНТОН *(один, с горечью)*. Кукольный театр из папье-маше! Чиркнуть спичкой — и они полыхнут, как солома!

А в зале взрыв аплодисментов, свист, крики:

— Браво! Браво!

5

Ночь. Вандея. Очертания дома.

СВЯЩЕННИК *(тихо)*. Граф, вы здесь? Если вы меня видите — подойдите...

Зажглась свеча.

(Показывает.) Тут весь их отряд, в этом доме. Человек тридцать. Все — парижане, республиканцы... У них был тяжелый переход сегодня. Теперь все дрыхнут без задних ног... *(Усмешка.)* Я неучтиво выразился, сударь, но, знаете, здесь, в Вандее...

ГРАФ. Не извиняйтесь, отец мой, я все понимаю... *(Опасливо.)* А если не дрыхнут? Если это ловушка, святой отец?.. Если вас обманули и нарочно заманили сюда?.. Священникам не лгут, но эти люди забыли даже бога!

СВЯЩЕННИК. Сведения нам доставил местный крестьянин, сударь.

ГРАФ. Крестьянин — это бык, кто его запряжет, тот и...

СВЯЩЕННИК. Местный, сударь. Не знаю, как быки, но в Вандее нет человека, который стоял бы за антихриста...

ГРАФ. Это, конечно, очень отрадно... И все же нельзя как-нибудь проверить, прежде чем...

СВЯЩЕННИК. Разумеется, сударь... *(Тихо позвал.)* Жакоб! Поль!

Бесшумно возникли два крестьянина. Косматые, бородатые, угрюмые. В руках пики.

(Жакобу.) Они, бывает, выставляют часовых, Жакоб... *(Графу.)* А нам лучше отойти, граф...

Они скрываются в темноте — и возникают звуки: то кошка надрывно взвоет, то залает собака, закричит птица... Появляется часовой.

ЧАСОВОЙ *(спросонья)*. Кто там?.. Эй, кто там есть, отвечай! А?..

И тотчас его хватают, подводят к графу и священнику.

СВЯЩЕННИК. Сколько человек в отряде?.. *(Жакобу.)* Вынь тряпку у него изо рта...

ГРАФ. Он начнет орать. Они все орут, чтобы предупредить своих!..

СВЯЩЕННИК *(часовому)*. Ты правда начнешь орать?.. Сын мой, я священник, мой долг — помогать заблудшим... Доверься мне...

Сдавленные звуки — часовой смеется.

ГРАФ. Скорее он доверится дьяволу, этот безбожник!

СВЯЩЕННИК. Так, значит, ты отрекся от господа, сын мой? Печально. И жизнью своей ты не дорожишь?.. Жизнь так прекрасна!.. Я знаю, что согрешу, но я повторю: прекрасна, сын мой! *(Ждет.)* Жаль. Я мог бы спасти тебя, если б и ты, конечно, пошел мне навстречу... *(Ждет. Жестче.)* Ну, а боли — боли ты тоже не боишься?

ГРАФ. Святой отец, отдайте его Полю, он просит...

СВЯЩЕННИК *(часовому)*. Адской, нестерпимой боли, когда смерть кажется избавлением, а она медлит, все не наступает... Тебе не страшно, сын мой?.. *(О Поле.)* Этот человек... Его очень сильно обидели твои друзья, и в его сердце нет больше места милосердию. Одна жестокость, хотя он и сын божий.

ГРАФ. Святой отец, скорее!..

СВЯЩЕННИК *(часовому)*. Ты слышишь, сын мой?.. Ты еще совсем юноша, тебе и двадцати, верно, нет...

ГРАФ *(не выдержав, хлещет перчаткой по щекам часового)*. Отвечай, ублюдок, там засада или нет?.. Засада? Да? Да? *(Священнику, нервно.)* Отдайте его Полю! *(Часовому.)* Я хочу посмотреть, как ты будешь молить о пощаде, ублюдок!..

СВЯЩЕННИК. Его не пощадят, сударь, и это зрелище не для ваших глаз...

ГРАФ. Позвольте, отец мой, мне самому решать, что для моих глаз, а что...

СВЯЩЕННИК *(Жакобу)*. Жакоб, пора начинать. Пусть несут солому...

Появился Поль с охапкой соломы. Направился к дому, в глубину, растворяясь в темноте.

(Графу.) Они обложат дом соломой и подожгут. Если кому-то из парижан и повезет выбраться,— у моих людей острые пики... *(Жакобу.)* Ты не забыл подпереть двери?

ГРАФ. Поль ждет разрешения, святой отец... Отдайте ему наконец этого часового!

СВЯЩЕННИК. Граф, я не могу приказывать вам... Поэтому вынужден приказать ему. *(Полю.)* В следующий раз, сын мой...

ГРАФ *(капризно)*. Зато я могу вам приказывать, отец мой! Я! И вы отдадите этого ублюдка этому... гм, этому сыну божьему... *(Полю.)* Бери его! Я разрешаю!

Поль быстро уводит часового. Граф тоже было двинулся.

СВЯЩЕННИК *(задержав)*. Граф, одумайтесь, умоляю вас!.. Сейчас мы все здесь будем заняты, и никто не сможет привести вас в чувство!

ГРАФ. Только не делайте из меня барышню, отец мой!.. Я не собираюсь хлопаться в обморок! И прошу вас: занимайтесь своим делом!.. *(Уходит.)*

Жакоб вопросительно смотрит на священника.

СВЯЩЕННИК. Есть вещи выше нашего разумения, Жакоб. Этот юноша зелен, но он дворянин. То есть опора короля... А мы воюем за короля!.. *(Помолчал.)* Сейчас начнем... И чтоб ни один не ушел живым, ты это помнишь? В плен не брать!.. *(Махнул рукой в темноту.)* С богом, Жакоб! Зажигай!.. *(Ждет. А потом вдруг надрывно.)* И молитесь, дети мои! Все время молитесь!..

Солома вспыхивает, дом занимается... И вот уже зарево, и сквозь треск и грохот падающих балок — крики...

(Исступленно.) Пойте молитву, дети мои!.. Громче, громче, чтоб Господь услышал нас!.. Восславим Господа нашего, и да поможет он нам изгнать Антихриста из земли нашей!..

Мрачное нарастающее пение. Вбегает Граф.

ГРАФ *(взахлеб)*. Отец мой, но это же восхитительно!.. Этот Поль, он такой проворный! Не успел я и глазом моргнуть, как он — р-раз! — ножом по руке того ублюдка! А потом по второй — р-раз!.. А из рук — жилы, прямо как веревки! Я никогда такого не видел, отец мой! Никогда! *(Недовольно.)* Сударь, что вы там бормочете?

СВЯЩЕННИК *(глухо)*. Я молюсь, граф...

ГРАФ. Слушайте, а знаете, зачем жилы?.. Ими он привязал его к дереву! Его же жилами! Восторг!.. Не тратить же на подлеца веревку, верно?.. Потом принес гвозди и стал его приколачивать. Прямо как на алтарь Спасителя, только гвоздей больше!.. Я тоже хотел вбить гвоздь, но он сказал: в следующий раз!.. *(Это почти истерика, граф все время подхихикивает.)* А сейчас он будет сдирать с него кожу. Уже начал — и знаете? Этот ублюдок еще жив!.. Конечно, ведь он безбожник и боится попасть в ад!.. *(Смеется.)* Но вы меня не слушаете?..

СВЯЩЕННИК *(исступленно кричит)*. Молитесь! Громче, братья мои! Громче!.. И да простит нам Господь все прегрешения наши, как бы ни были они тяжки... Молитесь!

Священник растворяется в темноте, а зарево разрастается, и громче пение жгущих, и пронзительнее крики горящих заживо... И сквозь все это — Эбер подходит к решетке петиционеров Конвента. Делает знак рукой — и тишина.

ЭБЕР. Они пришли в Париж со всей Франции. И сейчас пройдут перед тобой, Конвент... *(Вдруг исступленно.)* Дабы ты наконец забыл о своей преступной мягкости!.. Ты слышишь, Робеспьер?..

Глухой, медленный топот, шарканье...

Смотри, это воины Революции, которых она сделала беспомощными калеками! Юноши — они превратились в омерзительных уродов!.. Вот они, вот! Полутрупы, изнемогающие от увечий и голода! Смотри на них, вдыхай их смрадный запах!.. *(Кричит.)* Конвент, они требуют от тебя!

И донеслось глухое, угрожающее: — Требуем!..

Попам: не важно — присягнувшим, не присягнувшим Республике, всем!.. *(Удар колокола.)* Как и всем церквам, этим клокочущим очагам измены... *(Обернулся к невидимой толпе.)*

И звучит хриплое: «Смерти!..» И удар колокола.

Дворянам: кто открыто восстал, но и кто просто выжидает и даже кто примкнул к патриотам — для вида, Конвент, только для вида! А под личиной сочувствия лелеет заговор... Всем, всем! *(Обернулся к толпе.)*

«Смерти!» — и удар колокола.

Генералам — кто изменил, но и кто простой нерешительностью, бездарностью допустил до поражения, всем, равно!.. *(Удар.)* Мятежникам — как вождям, так и толпе, вовлеченной по глупости или злобе, не важно, всем!.. *(Удар.)* Спекулянтам, скупщикам, крупным и мелким! Продажным писакам, взывающим к милосердию! Слюнтяям, мягкотелым, богатым! Гордецам, развратникам, всем!.. И пусть под косой смерти падет и невинный — не сожалей,— ибо пришел день Гнева, Конвент! День Гнева и Мести, когда умрет всякая жалость! Ты слышишь, Робеспьер?! *(И вдруг широко улыбается, выбрасывает вверх руку со сжатым кулаком и орет.)* И дело пойдет...

Возникает Дантон.

ДАНТОН *(перекрыв Эбера своим мощным голосом)*. Безумец! Ты увидишь выжженную пустыню вместо цветущей Франции!

ЭБЕР *(пропустив эти слова мимо ушей, орет)*. И дело пойдет на лад!!

«На лад!!» — истерично отзывается толпа.

ДАНТОН. Конвент, опомнись! Убийство не даст друзей, оно лишь будет плодить и плодить врагов, ибо на место каждого казненного встанут его жена, друг, брат, сын!

ЭБЕР *(еще громче, толпе)*. На лад!!

И толпа громче: «На лад!!»

ДАНТОН *(отчаянно)*. Робеспьер!!

ЭБЕР *(визгливо)*. На лад!!

И толпа радостно ревет: «На лад, на лад!!» Слова Дантона тонут в этом реве, и колокол гудит беспрестанно.

6

Утро. Солнце. Парк.

ПЬЕР. Роза!

РОЗА *(удивленно)*. О, Пьер? Ты сегодня такой щеголь... Голубой фрак... золотистые панталоны... зеленый галстук! Разве сегодня праздник?.. Нет, я вечно буду путаться в этом новом, революционном календаре! Все эти вандемьеры, плювиозы вместо нормального сентября и августа...

ПЬЕР *(вытянул руки)*. Посмотри на мои руки. Они уже могут многое, но я хочу, чтоб они могли все! Они меня сделают первым хирургом Франции! *(Радостно.)* Роза! Сегодня я окончил университет!..

РОЗА. Сегодня?.. Как я могла забыть?! *(И вдруг тихо.)* Подойди, пожалуйста, поближе, Пьер... *(Ждет.)* Нет, мне вовсе не нужна твоя щека... Малыш, почему ты весь трясешься?

ПЬЕР. Я...

РОЗА. Мне нужны твои губы, мой любимый мальчик... *(Повернула его к себе.)* Ты ведь любишь меня, Пьер?

ПЬЕР. Роза...

РОЗА. И возьмешь в жены, как обещал?

ПЬЕР. Роза, я...

РОЗА. Закрой глаза!..

Он закрывает глаза, она становится на цыпочки и целует его.

ПЬЕР *(кричит)*. Роза!.. *(Бежит куда-то, сам не зная куда и зачем.)* Ро-о-за-а!..

РОЗА *(смеясь)*. Пьер, ты такой еще маленький!

ПЬЕР *(остановился)*. Ах, так?.. Ну, ничего, сейчас увидишь! *(И неожиданно полез на фонарь.)*

РОЗА. Куда, сумасшедший?

ПЬЕР *(карабкаясь)*. Нет, ты просто не понимаешь!.. Сейчас, в этот самый момент, перед твоими глазами произойдет событие... которое войдет в историю Франции!

РОЗА. Прямо-таки всей Франции?.. Это что же — ты так сильно грохнешься?

ПЬЕР *(торжественно воздев руки)*. О Бог, если ты есть! О Разум, который наверняка существует!.. Сегодня, став магистром медицины, я обращаюсь к тебе!..

РОЗА. Пьер, слезай давай! *(Оглянулась.)* Вот уже и люди идут.

ПЬЕР *(не слыша)*. Сделай так, чтобы отныне лишь врачи могли прикоснуться к человеку остроточенной сталью!.. Пусть исчезнет гильотина! Топор, пика, сабля... Ни солдат, ни палачей, только врачи!.. Это говорю я, Пьер Диллон, пришедший продлевать, а не сокращать жизнь!

РОЗА *(уже с тревогой)*. Пьер, ну слезай же! Там правда какие-то люди... Они странные...

Медленное шарканье, стук протезов и глухое: «Смерти! Смерти!»

ПЬЕР *(не слыша, в небо)*. Вы слышите, все?.. Я хочу жить, и я люблю Розу!..

РОЗА. Пьер!!!

ПЬЕР *(ничего не слыша)*. Я люблю Розу и хочу жить!!

И хриплый, грязный хохот калек. И темнота, и сквозь нее пронзительный крик боли...

7

И вновь Комитет общественного спасения. Вновь свечи. Но за столами никого нет. К окну быстро подъезжает Кутон (в инвалидном кресле). Слегка раздергивает шторы, смотрит в окно... Робеспьер тоже здесь, но его пока не видно, он в глубине, в темноте...

КУТОН *(вдруг усмехаясь)*. Знаешь, о чем я вдруг подумал, Максимилиан? *(Не сразу.)* Если Бог есть... И если он там, высоко на небесах... и если он умеет видеть далеко, и взгляд его способен проникать сквозь камень... И если я его сейчас позову... *(Внезапно орет.)* Эгей-гей!.. Господь наш всевышний! Это я — Кутон!!! *(Ждет, потом спокойно.)* Если он услышал меня и обратил свой взор на меня... Что он видит, Максимилиан?..

РОБЕСПЬЕР *(испуганно)*. Что он видит, Кутон?.. Где?!

КУТОН *(укоризненно)*. Чтобы дать отдохнуть мозгу, я часто предаюсь пустым, ни к чему не обязывающим размышлениям... Я так отдыхаю, Максимилиан!.. А тебе опять почудился заговор.

Ответа нет.

А может, пойдем домой, а?.. Все уже давно разошлись... Ты совсем плохо выглядишь.

РОБЕСПЬЕР *(твердо)*. Ты сказал, у нас еще несколько дел. Сегодняшних.

КУТОН *(вздохнув)*. Ты прав... *(Не сразу.)* Так как ты думаешь, что бы увидел Господь, обрати он свой взор на Тюильри?.. Только не говори — лицемерие, измену: мы же отдыхаем!..

РОБЕСПЬЕР. Тогда что?

КУТОН *(ухмылка)*. Ведь он великий зодчий, наш Создатель. И он наверняка ужаснулся бы от этой беспорядочной сети коридоров и залов, какую представляет собой Тюильри... Лабиринт... Нет, муравейник!.. *(Озабоченно.)* Максими-

лиан, а это не ошибка, что мы — все вместе?.. Вот Комитет общественного спасения. Туда — прямо по коридору — Конвент. Правее — Комитет общественной безопасности... Вот этот крошечный муравейник и есть власть сегодняшней Франции?.. *(Не сразу.)* А вокруг огромный Париж, вся необозримая страна... Леса, реки, овраги, равнины, море!.. И миллионы людей! И им хочется: себе — счастья, себе — любви, себе — хлеба и вина! Что заставляет их сдерживать свои желания, ущемлять свои интересы?.. Этот микроскопический муравейник в центре Парижа?.. Как у него это получается?.. *(Тихо.)* Я вдруг подумал, Максимилиан... Может быть, просто пока не нашелся человек, который сказал бы: «Господа!.. Неужели вы не видите, что этот муравейник так мал?..»

РОБЕСПЬЕР *(не сразу)*. Чтобы это увидеть, человеку нужно было бы вознестись на высоту Бога, а это невозможно.

КУТОН. Но я же...

РОБЕСПЬЕР *(перебил)*. Ты просто отдыхал, Кутон. Ты уже отдохнул?..

КУТОН *(вздохнув)*. Отдохнул... *(Зовет.)* Гражданин!

Входит Гвардеец.

Ты принес газету?

Гвардеец протягивает газету и уходит.

КУТОН *(развернул, читает про себя, потом вслух)*. Так... Так... Вот послушай-ка!.. «Все возбуждало подозрительность тирана. Если гражданин популярен — значит, он соперник государя и может вызвать междоусобную войну... Подозрительный!» Не удивляйся, Максимилиан, это всего лишь Древний Рим, Тацит... К нам, стало быть, никакого отношения... *(Читает.)* «Если же, наоборот, вы сторонитесь людей,— что вы там замышляете в уединении?.. Подозрительный!.. Вы богаты? Так, значит, вы подкупите чернь своей щедростью! Подозрительный!.. Ах, вы, напротив, бедны? Тогда еще пристальнее следить за вами, ибо самый предприимчивый тот, у кого ничего нет и кому нечего терять...» *(Смеется.)* Неплохо закручено, верно?..

РОБЕСПЬЕР *(глухо)*. Кто это писал?

КУТОН. Тацит, я же сказал!

РОБЕСПЬЕР. Покажи мне газету...

КУТОН. Подожди, еще один кусочек! Просто исключительно остроумно!.. *(Читает.)* «И в любом случае надо иметь бесстрашный вид, даже если вам страшно, ибо сам страх могут поставить вам в вину!..»

РОБЕСПЬЕР *(нервно)*. Дай мне газету, Кутон!..

КУТОН. А разве ты еще не узнал своего однокашника?.. Кто еще так лихо напишет, если не Камилл?..

РОБЕСПЬЕР *(не сразу)*. Да, мы учились с ним в коллеже Святого Людовика. Дружили...

КУТОН. Ну, сейчас он предпочитает дружить с Дантоном. Он просто души в нем не чает!.. *(Пристально взглянув на Робеспьера.)* Впрочем, дружба, кажется, и не входила в наши расчеты, когда мы взялись управлять всей Францией?.. Не так ли, Максимилиан?..

РОБЕСПЬЕР *(в своих мыслях)*. Мальчишка, всегда был мальчишкой!.. Сорвал с ветки лист, приклеил его к шляпе... «Вот наша кокарда!..» Но удивительно: за этим мальчишкой пошли!.. И куда? На Бастилию!!

КУТОН *(не выдержав)*. А теперь пойдут на нас! На Комитет, на тебя!..

РОБЕСПЬЕР *(как бы удивленно)*. Насколько я знаю, Камилл всегда воевал с Эбером, с «крайними»...

КУТОН *(бьет по газете)*. О ком здесь написано, Робеспьер, слепец, о ком?!

РОБЕСПЬЕР. Об императоре Тиверии, если я не ошибаюсь. Или ты прочитал мне не до конца? Там еще что-то?

КУТОН *(устало)*. До конца, Максимилиан, до конца... *(Зовет.)* Гражданин!..

Входит Гвардеец.

Позови Жака.

Гвардеец впускает Жака, того самого престарелого владельца кафе, к которому заходил Дантон.

Жак, мы спешим, поэтому — быстро, без околичностей. По существу.

ЖАК *(сбивчиво)*. Значит... сначала — «снисходительные». Просто уже вовсю, не стесняясь, кричат о каком-то Комитете милосердия. Вместо всех других комитетов, граждане!..

КУТОН. Хорошо. Дальше.

ЖАК. Я хотел еще имена. Можно?.. *(Быстро, поглядывая в бумажку.)* Значит, кроме Дантона и Демулена, главных заводил... Филиппо, Лакруа, Лежандр, Фабр д'Эглантин... А если помельче, то...

КУТОН. Дальше!

ЖАК. Дальше?.. Дальше — уже Эбер, «крайние»... Ну, эти просто как с цепи сорвались! Мало им нашего Революционного трибунала, они хотят... *(Вновь поглядывает.)* Ну, в общем, как в прошлом году, в сентябре. Когда — помните? — резали всюду: в тюрьмах, на улицах...

КУТОН. Помним, помним, Жак! Дальше!

ЖАК *(по бумажке)*. Потверже, значит, хотят... Эбер так и говорит... *(Подглядывает.)* Железная рука, говорит, нужна... Поскольку, говорит, кругом одно безобразие, в газетах — жуть, в театре — поклеп... И, главное, хлеб! Голод!.. А Дантон, наоборот, говорит...

КУТОН *(перебил)*. Ясно!.. И, наконец, Жак...

ЖАК. Наконец, главное, граждане мои дорогие!.. Ведь это они для виду только меж собой собачатся — Дантон, значит, и Эбер. А на самом деле в вас, в вас они метят! Вы их не устраиваете! И тех, и других! А народ — он их слушает, очень слушает, помяните мое слово!!

РОБЕСПЬЕР *(вдруг)*. Ты кто?

ЖАК *(испуганно)*. Что?.. Я?.. Всего лишь простой, безвредный человек, гражданин...

КУТОН. Недавно он пришел в Комитет безопасности и предложил свои услуги. Сам...

ЖАК *(поддакивая)*. Сам, сам, без всяких!..

КУТОН. И вот уже почти месяц, как предоставляет нам довольно ценную информацию.

ЖАК. Мое кафе, гражданин Робеспьер... Оно на слишком бойком месте. Там все бывают — и из Конвента, и из Коммуны... даже и вы заходили, ей-богу!.. Только, конечно, не запомнили меня. Да и к чему?.. Я человек незаметный, простой... Так вот там, у себя в кафе, я, бывает, такие речи слышу — страшно делается! То есть, конечно, не за себя — за Революцию, за вас страшно, ей-богу!..

КУТОН *(Робеспьеру)*. Если ты уже не слушаешь, Максимилиан... *(Жаку.)* Иди, Жак. Спасибо. Деньги ты получишь...

ЖАК. Да что вы, что вы, какие деньги!.. Главное — я вам помог, а там уж... Будьте здоровы, граждане! Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни!.. *(Ушел.)*

Молчание.

КУТОН. Тацит — в истории, а эти — сегодня, сейчас, Робеспьер. Они рвут на части друг друга, но думают лишь об одном: как бы свалить нас, Комитет! И сами — сюда, на наше место!.. *(Жестко.)* В то время как единство, только единство... Все пальцы, каждый в отдельности — слабый, но вместе, крепко стиснутые в кулак... Только это нас может спасти сегодня, перед лицом войны и мятежа!..

Молчание.

Есть еще одно дело, Максимилиан. Последнее. Но его нужно решить сегодня, сейчас. Оно не терпит отлагательства!.. *(Зовет.)* Гражданин!..

Входит Гвардеец.

Впусти человека из Вандеи.

Гвардеец уходит. Входит седой мужчина.

СЕДОЙ. Приветствую тебя, Кутон!.. Приветствую тебя, Робеспьер!

КУТОН. И тебя, Жером... Время позднее — перейдем сразу к делу, хорошо?.. Сообщи гражданину Робеспьеру, откуда ты.

СЕДОЙ. Из Вандеи, гражданин Робеспьер.

КУТОН. Сколько тебе лет? Не мне, я знаю...

СЕДОЙ. Двадцать, гражданин Робеспьер...

КУТОН. Почему же ты седой?

СЕДОЙ *(улыбка)*. Зато я все-таки живой, гражданин Робеспьер... Хотя они и сожгли всех нас... живьем...

КУТОН. И все же почему ты седой, Жером?..

СЕДОЙ *(неуверенно, Кутону)*. Некоторым делается дурно при виде... Еще ведь не зажило...

КУТОН. И все-таки вытяни руки вперед, Жером!

Седой резко вытянул руки перед Робеспьером, тот отшатнулся.

Теперь спрячь их за спину... *(Помешкав.)* Как это случилось, Жером? Как ты потерял обе кисти?

СЕДОЙ. Я их не потерял: это ведь не перчатки...

КУТОН *(подсказывает)*. Не мне...

СЕДОЙ *(Робеспьеру)*. Мне их отпилили, гражданин Робеспьер!.. Взяли и отпилили, пилой!.. *(Заводясь.)* Это не люди, это кровожадные звери, граждане Робеспьер!.. А их еще называют «изнеженные аристократы»...

КУТОН. За что они так поступили с тобой, Жером?

СЕДОЙ. Я был знаменосцем. В этих руках... я держал

древко. На нем было трехцветное знамя. Знамя нашей Республики...

КУТОН *(Робеспьеру)*. Его личность установлена, показания проверены. Он не врет ни слова.

СЕДОЙ *(ухмылка)*. А зачем же мне врать? *(Хочет вновь показать руки.)*

КУТОН. Не надо, Жером!.. Сообщи теперь последнее. Что ты собирался делать в Париже?

СЕДОЙ. Я хотел стать святым...

КУТОН *(перебил)*. Еще раз, громче, и не мне...

СЕДОЙ. Я хотел сделаться святым мучеником Революции, гражданин Робеспьер!.. Я слыхал, что из Лиона привезли голову... Ну, понятно, засушенную, голову патриота Шалье!.. Которого казнили по наущению проклятых жирондистов... Так вот, этой голове, я слыхал, теперь поклоняются, равно как и святому мученику Революции Марату!.. Вот, значит, и я решил... А чего? Пусть все видят мои руки! И знают...

КУТОН *(перебил)*. Спасибо, Жером, довольно. Ты помог нам, помог Комитету общественного спасения... Иди, ты свободен...

СЕДОЙ *(с надеждой)*. Свободен? Значит, вы меня... отпускаете? Домой?

КУТОН. Нет, Жером, прости, ты неправильно меня понял. Тебя проводят обратно, в тюрьму...

СЕДОЙ. Но... гражданин Робеспьер!..

КУТОН. Он сейчас же, безотлагательно займется твоим делом. Так что тебе недолго осталось ждать. *(Зовет.)* Гражданин!..

Входит Гвардеец.

Уведи его, гражданин. Спасибо.

Гвардеец и Седой уходят. Робеспьер резко отдергивает портьеру, распахивает окно и дышит, дышит...

(Выждав, пока Робеспьеру станет легче.) Извини, Максимилиан. Ты знаешь, я всегда стараюсь оградить тебя от иных кровавых зрелищ, ты и так нездоров... Но сегодня это было необходимо. Чтоб ты испытал, хотя б отчасти, те чувства, которые испытывает простой народ при встрече с этим седым, искалеченным юношей.

РОБЕСПЬЕР. Почему его бросили в тюрьму?

КУТОН. А что оставалось делать?.. Кое-кого из черни этот юноша возбудил настолько, что они ринулись ловить аристократов... точнее, любых богато одетых мужчин, а главное, с нежными, холеными руками, не знавшими труда!.. И у одного они...

РОБЕСПЬЕР *(в ужасе шепчет)*. ...отпилили руки!!!

КУТОН *(не сразу)*. Именно так они и поступили, Максимилиан.

Молчание.

Завтра слух облетит весь Париж... Дантон. Эбер... *(И вдруг взрыв.)* Дантон, Эбер, Дантон, Эбер!.. Надоело!

РОБЕСПЬЕР *(ровно)*. Давай по порядку, Кутон...

КУТОН *(взяв себя в руки)*. Хорошо. По порядку, Дантон. Так называемые «снисходительные». А с ними — все, у кого деньги, собственность... Все, у кого еще что-то осталось, что нужно охранять... для чего нужен закон, порядок!..

РОБЕСПЬЕР. Далее...

КУТОН *(сдерживаясь)*. Далее... Если эта история попадет к «снисходительным» — они неминуемо обвинят нас, и уже не впервые, что мы подстрекаем народ к анархии и жестокости!

РОБЕСПЬЕР. Далее.

КУТОН. И отвернутся от нас!

РОБЕСПЬЕР *(нетерпеливее)*. Далее, Кутон!

КУТОН *(сдерживаясь)*. Далее... Теряя их, мы теряем — и это меньшее из всего возможного! — поставки в армию. Продовольствие, обмундирование, оружие... *(Устало.)* Поэтому мы и арестовали этого юношу, Максимилиан... Хотя, может, он и действительно святой... *(Раздраженно.)* Послушай, закрой окно, ты простудишься!

РОБЕСПЬЕР *(испуганно, хрипло)*. Кутон... Я боюсь за него!

КУТОН *(старается побыстрее подъехать; чуть ли не по-матерински успокаивая)*. Послушай... пожалуйста, я прошу тебя! Успокойся. И постарайся напрячь весь свой ум... Хорошо? Думай!.. Пойми, Максимилиан, у нас совсем нет времени, только остаток ночи... Мы посадили этого парня в тюрьму... *(Вдруг снова взрыв горечи.)* ...Но ведь и держать его там тоже невозможно!!

Робеспьер уже взял себя в руки.

РОБЕСПЬЕР. Я слушаю тебя, Кутон.

КУТОН. Невозможно: нас снова обвинят, только уже другие! Что мы продались «снисходительным»! Что ради безопасности богачей мы бросаем за решетку мучеников свободы!!

РОБЕСПЬЕР. Эбер...

КУТОН. И с ним — все «крайние», все, кто за ними идет: бедняки, санкюлоты... А это уже не поставки, Робеспьер, это сама армия, ее солдаты!.. И еще та чернь, что в любой момент готова силой ворваться в тюрьму и освободить его!.. А заодно перерезать всех, кто там сидит! Как в прошлый сентябрь!..

РОБЕСПЬЕР *(резко встал — и вновь к окну)*. Ему всего 20 лет? Я не ослышался?

КУТОН. Ровно двадцать, Максимилиан.

РОБЕСПЬЕР *(опять — с болезненным страхом)*. Кутон! Кутон, я боюсь за него!!

КУТОН. Я же тебя просил, Максимилиан!.. *(Неуверенно.)* Скажи — а может, дать ему паспорт, денег, и пусть убирается? Куда угодно — в Англию... к черту, к дьяволу, лишь бы он исчез!.. *(Помолчав, с сомнением.)* А завтра кто-нибудь явится к тюрьме, и... что мы скажем?.. *(Раздраженно.)* Да что бы мы ни сказали, все равно решат, что мы удавили его — в камере, ночью!.. Будь он хоть сто раз цел и невредим, где-нибудь в Лондоне!.. *(Кричит.)* Что ты молчишь? Нужно решать, решать, и быстро!

Молчание.

(Смущенно.) Извини... Я просто устал сегодня... *(Вновь неуверенно.)* А если кинуть это дело Конвенту? И пусть они там хоть перегрызутся все!.. *(Помолчав, уныло.)* И тоже ни черта не решат...

РОБЕСПЬЕР *(тускло)*. Отчего же? Они обязаны будут решить, и справедливо...

КУТОН. Да что, что?

РОБЕСПЬЕР *(ровно)*. ...что Комитет следует распустить, ибо он уже не в состоянии...

КУТОН *(перебил)*. Распустить?.. Из-за одной пары спиленных кистей? Я правильно понял?!

РОБЕСПЬЕР. Из-за двух пар. Ты забыл, что это повторилось в Париже...

КУТОН *(зло)*. А, из-за двух!.. Ну, тогда, конечно! Тогда чего уж! Из-за двух пар — когда на фронтах каждый день гибнет... *(Сдержавшись.)* Максимилиан! Необходимо решение. Срочно. Сейчас же. Если завтра же утром мы его не выпустим... *(Взвыл.)* О, как я его уже ненавижу, этого идиота!.. *(Твердо.)* Короче!.. Не выпустим — в нас вцепится Эбер. Выпустим — Дантон. Заколдованный круг!.. Но его надо разорвать — ты слышишь, Максимилиан?.. Или — гражданская война! Еще одна! Уже в Париже! То есть — последняя, Максимилиан! После нее Революция сдастся первому попавшемуся герцогу, который поближе!!

Молчание. Кутон ждет.

Так что ты решаешь, Максимилиан?

РОБЕСПЬЕР. Кутон, ты разве забыл? Я давно уже ничего не решаю. Да и ты тоже. С тех пор, как мы — здесь... Помнишь, у Руссо? «Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они...»

КУТОН *(терпеливо)*. Хорошо. А мнение? Каково твое мнение по этому вопросу?

РОБЕСПЬЕР *(мягко)*. Я такой же человек, как и все, и у меня, как у всех, есть свое мнение, Кутон. Но я давно забыл тот день, когда имел право... *(Вдруг — сорвался, и вновь болезненно.)* Тебе нужно мое мнение, Кутон? Так знай, знай: мне страшно! Я боюсь за него, за этого мальчика! Боюсь!..

КУТОН *(кричит, чтобы осадить)*. Нет!! *(Спокойно.)* Ты ничего не боишься, Робеспьер. Ты... и я... Мы вообще не должны знать, что такое страх... *(Подождав.)* И, как я понял, у тебя все-таки уже есть решение.

РОБЕСПЬЕР *(с трудом)*. У меня ничего нет, Кутон. Я просто, как и обычно, пытался услышать, чего желает народ.

КУТОН *(терпеливо)*. Правильно... И он, народ, принял, наконец, какое-нибудь решение?.. Какое тогда?.. Ты боишься... значит, народ желает казни этого юноши?

РОБЕСПЬЕР. Народ, к несчастью, не един в своих помыслах. Ибо класс богатых еще слишком эгоистичен, а бедных — слишком невежествен...

КУТОН *(измученно)*. Так, значит, не казни? Наоборот — освобождения?.. Не понимаю... Извини, я не понимаю, Максимилиан! Объясни!.. Чего все-таки желает народ?.. Решение!

РОБЕСПЬЕР. Когда бедняки ропщут против бесконечно растущих цен — что делаем мы? Устанавливаем максимум на цены... Но это разоряет торговцев и предпринимателей — и тогда, внемля уже их ропоту, мы устанавливаем максимум на жалованье, которое они должны выплачивать рабочим... Мы ищем равновесия, Кутон, мы всегда ищем равновесия... *(Осекся — потом глухо.)* Скажи, тот, второй... аристократ?

КУТОН. Второй?.. *(Не сразу.)* Нет... Но он был весьма щегольски одет. Голубой фрак, золотистые панталоны, зеленый галстук... Природная гамма, по Руссо...

РОБЕСПЬЕР. Значит, он тоже молод?

КУТОН. Тоже?.. Ты сказал: тоже?..

Пауза. Ужас в глазах Кутона постепенно сменяется восхищением.

Я понял, Максимилиан... Ты нашел воистину единственное решение!.. *(Озабоченно.)* Но теперь нужно срочно же сообщить в Комитет безопасности! *(Покатился к столу.)* Чтоб они завтра же, прямо с утра... Ведь его не арестовали!.. Пожалуй, я оставлю записку...

РОБЕСПЬЕР *(с трудом)*. Кутон, я спросил — он тоже молод?

КУТОН *(рассеянно)*. Боже мой, но до чего же все просто. Равновесие! Как всегда!.. Головой одного мы заткнем глотку Дантону, а головой другого — Эберу... И пусть они подавятся ими, эти убийцы! *(И пишет.)*

РОБЕСПЬЕР *(взвыл)*. Он молод, Кутон?! Кто он?!

КУТОН. А?.. *(Отложил записку.)* Никто. Никто! Ни патриот, ни роялист... Кажется, из университета, приехал учиться медицине... Ничего, Трибунал быстро докажет, что он — жирондист или еще хуже. Эбер будет доволен!

Робеспьер опять рывком открывает окно и судорожно дышит.

(Сухо.) Я понимаю, Максимилиан,— напоминать тебе сейчас, что ты можешь простудиться...

Молчание.

Мы ведь не ради себя пошли на это, не так ли? И ты, и я... Эта власть, разве она что-нибудь дает — нам, лично нам?.. *(Грустная усмешка.)* Знаешь, кому я завидую? Сен-Жюсту. Он сейчас в армии. Вот где все просто и понятно: тут — свои, там — враги...

Молчание.

Максимилиан, ну отойди же ты от окна!.. *(Ждет, потом — с усмешкой.)* Ну, может, тебя тогда успокоит, что и мы тоже, как ты знаешь, не умрем в своих постелях... А?

Молчание.

Ну, ладно, все... *(Зовет.)* Гражданин!

Входит Гвардеец.

(Что-то вспомнил.) Нет, выйди!..

Гвардеец выходит.

(Робеспьеру.) Послушай... А ты ведь с самого начала знал ответ, Робеспьер. С самого начала!.. И тянул. О чем же ты думал? *(Ждет.)* Ты надеялся их спасти? Да? *(Ждет. Громче.)* А сейчас — о чем ты думаешь? Максимилиан?.. Неужели ты все еще надеешься... Но, прости, есть же логика: если не им — то конец нам, конец единству... гражданская война,— и герцоги, герцоги в результате!.. А они — это такая кровь, что не только эти ребята,— никто, никто... слышишь?!

РОБЕСПЬЕР *(повернулся. Холодно)*. С чего ты взял, что я думаю об этих мальчишках, Кутон? Я уже давно забыл о них...

КУТОН *(растерянно)*. Да?..

РОБЕСПЬЕР *(помешкал, задумавшись)*. Ты полагаешь, сегодня мы вновь обрели единство, Кутон?

КУТОН *(далеко не сразу)*. Сегодня — да, Максимилиан!.. Да!

РОБЕСПЬЕР. Ну, что ж... До завтра! *(Быстро уходит.)*

КУТОН *(растерянно зовет)*. Гражданин!

Входит Гвардеец.

(Гвардейцу.) Закрой, пожалуйста, окно...

Гвардеец закрывает.

(Подкатился к окну. Гвардейцу.) Спасибо... А теперь — давай толкай мое кресло, а я буду задувать свечи... *(Улыбнувшись.)* Мое единственное, зато ежедневное развлечение!..

Гвардеец катит Кутона, тот почти с детской восторженностью гасит свечи... Внезапно появляется Жак.

ЖАК *(волнуясь)*. Гражданин Кутон!..

КУТОН. Жак?

ЖАК. У кордельеров — Эбер, Венсан, все «крайние»... Они завесили черным, как при трауре, таблицу с Декларацией прав... Весь Париж оклеен воззваниями против Комитета... Похоже на восстание, гражданин...

КУТОН *(орет)*. Что?!

ЖАК. Восстание, гражданин Кутон.

КУТОН *(растерянно)*. Ложь! Сегодня мы едины как никогда!.. *(Но уже сам понимает, что Жак сказал правду. И уже тихо.)* Ложь...

Занавес.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

8

На площади толпа. На ступенях, уходящих в глубину и вверх, к гильотине,— глашатай. Барабанная дробь.

ГЛАШАТАЙ. Слушайте приговоры Революционного трибунала! *(Читает.)* «За участие в заговоре против Республики... Постановлением Революционного трибунала от третьего жерминаля второго года Свободы... К смертной казни посредством гильотинирования приговариваются...

Толпа затихла.

Эбер Жак Рене, тридцати семи лет, заместитель прокурора Коммуны Парижа, издатель газеты «Папаша Дюшен»...

ДЕМУЛЕН *(из толпы)*. Эй, Эбер! Кто больше всех пекся, чтоб тесак не затупился?.. Вот и испробуй его теперь на собственной шее!

ГАЗЕТЧИК *(подхватывая)*. Сансон, утри ему нос, не то вся корзина будет в соплях!

ГЛАШАТАЙ *(махнул рукой)*. Поехали!..

Дробь. Толпа затаилась и ухнула: «Есть!..»

(Читает.) К смертной казни посредством гильотинирования приговаривается... Клоотс Жан Батист, называвший себя... *(Разбирает.)* Анахарсисом... Тридцати девяти лет, иностранец, барон, депутат Национального Конвента...

ПЕРЕПИСЧИЦА. Бей иностранцев!

ГЛАШАТАЙ. Поехали!..

Дробь. И вновь, выждав, толпа ухнула: «Есть!»

К смертной казни посредством гильотинирования...

В это время на площади появляется торговка.

ТОРГОВКА *(монотонно зазывает)*. По случаю праздника — колбаса печеночная, с чесноком, с перцем! Окорока! Пирожки нантерские!..

ГЛАШАТАЙ. Венсан Франсуа Никола, двадцати семи лет...

ТОРГОВКА. ...печеночная, с чесноком, с перцем!

За пирожками тотчас выстроилась очередь.

ГАЗЕТЧИК *(из очереди)*. Эй, ребята, ко мне! Горячие! Объедение!..

ДЕМУЛЕН *(в сторону эшафота)*. Венсан! Надеюсь, тебе дали водки, чтоб ты не так трусил?..

ГЛАШАТАЙ. Поехали!..

Дробь. Но уже вторая торговка на площади.

ВТОРАЯ ТОРГОВКА. Цепочки медные, серебряные! Кольца, перстни с рельефным изображением Марата и других святых мучеников Революции!..

ДЕМУЛЕН *(пытаясь удержать толпу у эшафота)*. Куда вы, дурачье?.. Ведь еще только троих казнили... А их двадцать!.. *(Но его не хотят слушать.)*

БАРОН *(из очереди)*. Жанна! Жанна! Иди скорей сюда! Я нашел колечко, которое ты хотела!..

ГЛАШАТАЙ. К смертной казни посредством гильотинирования...

Еще один торговец возник на площади. Это Жак.

ЖАК. Лимонад сладкий, лимонад кислый! Лимонад сладкий, лимонад кислый!

ДЕМУЛЕН. Граждане, стойте! Ведь казнят ваших врагов!..

ГАЗЕТЧИК *(Демулену)*. А пошел ты!..

ГЛАШАТАЙ. Моморо Антуан Франсуа, тридцати восьми лет...

На площади стоит гвалт, как на ярмарке. Чтобы быть услышанным, Демулену приходится взобраться на фонарь.

ДЕМУЛЕН. Смерть террористам! Да здравствует Милосердие! Да здравствует Дантон!..

Но издалека доносится зов: «Все сюда! Дешевое вино, почти даром!» — и площадь пустеет.

9

Бьют часы. По коридору Тюильри идет Переписчица. Ее догоняет Барер.

БАРЕР. Катрин, постой!.. *(Вполголоса.)* Ты просто восхи-

тительна, Катрин! Три дня подряд я ищу тебя... Ты что, меня избегаешь?

ПЕРЕПИСЧИЦА *(спокойно)*. А ты что, за мной бегаешь?

БАРЕР *(сдержался)*. Я попросил кое-кого из своих друзей... гм... Дома ведь ты не ночуешь?

ПЕРЕПИСЧИЦА. Я заметила твоих агентов, Бертран.

БАРЕР. Ты нахалка!.. Сперва я подумал: ну ладно, у девочки кто-то был до меня, и она не может порвать так сразу... Но чтоб столько, Катрин!.. Мои агенты просто с ног сбились — ты меняешь постель каждую ночь!.. *(Переписчица хотела вырваться — Барер не пускает.)* Ты же обыкновенная проститутка, шлюха!.. Сколько ты у нас работаешь? Полгода? И уже успела переспать со всем Комитетом. Своим. А заодно и с нашим!

ПЕРЕПИСЧИЦА. Не со всем Комитетом, Бертран. С вашим — еще не со всем.

БАРЕР. «Еще»!.. Шлюха, значит, ты еще надеешься? С кем?.. С Робеспьером? С Кутоном, у которого отнялись ноги?

ПЕРЕПИСЧИЦА *(пожав плечами)*. Но больше ведь у него ничего не отнялось?

БАРЕР *(сдерживаясь)*. Ну, хорошо... А как же дальше, Катрин? Завтра ведь тебе мало будет и Комитетов, тебе понадобится... что? Весь Конвент? Не много ли — даже для твоего крепкого тельца?

ПЕРЕПИСЧИЦА *(задумчиво)*. Весь Конвент, ты сказал?.. О, это, наверно, было бы... Ведь это — словно вся Франция, весь народ, правда?..

БАРЕР *(взвыл)*. Нет, тебя казнят!

ПЕРЕПИСЧИЦА. Всех казнят, ну и что! *(Вырывается и уходит.)*

БАРЕР *(вслед)*. Дура! Не всех!.. Я лично собираюсь жить! Долго!..

И вновь бьют часы. Помешкав, Барер входит в Комитет общественного спасения. Здесь Сент-Андре, Карно, Ленде, Кутон, Колло. А в противоположной от них части залы — Робеспьер, один, неподвижно стоящий и глядящий в окно... С улицы едва доносятся монотонные завывания глашатая, перечисляющего имена казнимых...

КОЛЛО *(зло)*. Слушайте, ну когда же мы начнем, наконец?.. Уже, наверно, час, как он стоит и смотрит!.. Стоит и высматривает неизвестно что!.. А мы должны ждать!

КАРНО *(спокойно)*. А ты работай, Колло, не жди. Вон, как Сент-Андре, Ленде... Что, у тебя мало дел?

КОЛЛО. У меня уйма дел, Карно! Но ты считаешь — сегодня обычный день? Простой будний день, да?! *(Жестко, всем.)* Сегодня самая длинная казнь в Париже. Двадцать два наших товарища взошли на эшафот!

ЛЕНДЕ *(кивнув на окно, с усмешкой)*. Может, там и есть твои товарищи, Колло. Однако моих друзей там нет. И не может быть... Ни одного!

КОЛЛО. Товарищи по партии, Ленде!! По нашей с тобой общей партии Горы!!! *(Сдержался. Кивнул на окно. Тихо.)* Но, как это ни жестоко, это только начало порубки...

СЕНТ-АНДРЕ *(усмешка)*. Миленькое словечко ты нашел — «порубка»...

КОЛЛО. На твоем месте, Андре, я бы обратил внимание на другое слово. «Начало». Мы только начали, дорогой...

ЛЕНДЕ *(вскочил)*. Ложь!

КОЛЛО. Истинная правда, дружище!

И все невольно обернулись к Робеспьеру. Но он ничего не слышит.

БАРЕР. Граждане, ну о чем вы спорите? Разве не ясно?.. Две фракции без конца грызлись друг с другом. «Снисходительные» и «крайние». И обе метили в нас, в Комитет!.. Но пока их было две — одна как бы защищала нас от другой. А теперь Эбер своей идиотской попыткой восстать уничтожил сам себя. И нарушилось равновесие, вы это понимаете?! Сегодня уже никто, никто, кроме нас самих, не в состоянии защитить нас от...

СЕНТ-АНДРЕ *(быстро)*. Не надо, Бертран!..

БАРЕР *(недоуменно)*. Что?..

КУТОН *(вдруг сорвался, покатился к Робеспьеру. Зло)*. Нет, мне просто уже интересно, что он там такого увидел — чтоб вот так, не отрываясь... целый час...

КОЛЛО *(усмешка, тихо)*. Говорят, кровь — она как огонь: завораживает...

ЛЕНДЕ. Отсюда не видно крови, Колло...

Все повернулись к Кутону. А тот вслед за Робеспьером смотрит в окно.

СЕНТ-АНДРЕ. Ну что там, Кутон?

КУТОН *(недоуменно)*. Не понимаю... Все спокойно, по-моему... Толпа разошлась, у эшафота лишь несколько праздных зевак...

КАРНО. Может, осужденные плохо ведут себя?

КУТОН. Осужденных отсюда не видно...

И вновь все замолчали недоуменно.

БАРЕР *(негромко)*. Просто Максимилиан еще нездоров, вот и все. Говорят, у него целую неделю не спадал жар.

КОЛЛО. Но решать мы все-таки должны. И будем!..

И вдруг Робеспьер резко закрыл штору. И стоит перед ней, и дышит, дышит...

КУТОН *(торопливо)*. Что, Максимилиан?.. Что там произошло?..

Робеспьер даже не обернулся.

Может быть, кто-нибудь из недобитых «крайних» пытался возмутить толпу?..

БАРЕР. Да какую толпу? Ты же сам сказал, Кутон: несколько праздных зевак... *(Робеспьеру, вкрадчиво.)* Скорее опять появились эти молодчики, которые все утро кричали: «Да здравствует Дантон, да здравствует Милосердие!..» Они, да?.. Им, видно, здорово платит этот...

ЛЕНДЕ *(быстро)*. Бертран!..

БАРЕР *(раздраженно)*. Ну, что, что опять?!

СЕНТ-АНДРЕ. Дорогой, ты хоть сознаешь, чье имя ты все время пытаешься произнести?..

БАРЕР. Главаря «снисходительных», Андре...

СЕНТ-АНДРЕ. Вождя Революции, Бертран! С самого начала, с 89-го года!..

БАРЕР. Порочного, продажного...

ЛЕНДЕ. Эти сплетни оставь для своей жены!

СЕНТ-АНДРЕ. Бертран, дорогой! Ну опомнись же ты наконец!.. После смерти Марата у Революции осталось всего два имени. Два главных имени! И неужели мы, своими руками...

КОЛЛО *(усмешка)*. Ну для чего же своими, Андре? Есть Сансон...

Молчание. Все вновь оглянулись на Робеспьера.

КУТОН *(взрыв)*. У окошка, между прочим, можно и дома стоять! Максимилиан!.. Это в конце концов уже... *(Схватил его за руку.)* Робеспьер!!

РОБЕСПЬЕР *(обернулся, глухо)*. Что, Кутон?

КУТОН. Мы все ждем тебя, Максимилиан. Мы хотели обсудить очень важный вопрос... *(Нервно.)* А ты стоишь и смотришь в окно!.. Что ты там такого увидел в конце концов?..

РОБЕСПЬЕР. А ты... ты ничего не увидел?

КУТОН. Ничего, Максимилиан. Ничего такого, чтоб...

РОБЕСПЬЕР *(волнуясь)*. Но ведь это у меня был жар, Кутон! У меня перед глазами висела толстая пелена, сквозь которую не продраться... А ты?.. Ты ведь здоров?..

КУТОН *(сдерживаясь)*. Кажется, Максимилиан. Вполне...

РОБЕСПЬЕР. И ничего не увидел?.. *(Остальным)*. И вы все — тоже ничего?.. Ничего?!.

Молчание.

КУТОН *(терпеливо)*. Ну, почему же, Максимилиан... Кое-что и мы увидели. Увидели, например, что беспорядков, которых мы опасались, удалось избежать. Что народ весьма одобрительно отнесся к казни...

РОБЕСПЬЕР *(орет)*. Где, Кутон?! Мало того, что безногий, ты еще и слепой?!

КУТОН *(сдержавшись)*. Значит, по-твоему, не одобрительно? Наоборот — с осуждением?..

РОБЕСПЬЕР. Где, где народ, Кутон?.. Два тупых бездельника — это народ?!

Молчание.

КУТОН *(терпеливо)*. Да, народ уже разошелся. Сегодня очень длинная казнь. Их больше двадцати...

РОБЕСПЬЕР. Кого? Врагов? Друзей?.. Кого?..

КУТОН *(растерянно)*. Странно, что ты даже спрашиваешь меня об этом... Есть постановление Трибунала, решение Комитета. Твое в том числе...

РОБЕСПЬЕР. Я спросил тебя про народ: мы казнили друзей, врагов народа?.. Кого?!

КУТОН. Врагов...

РОБЕСПЬЕР. Почему ж толпа не освистывает их, как прежде? Почему ей плевать на своих врагов?..

КУТОН. Но, значит, и не друзей, Максимилиан! Ведь и не оплакивает, верно?..

РОБЕСПЬЕР *(устало)*. Верно, Кутон...

КУТОН *(растерянно)*. Тогда... что же происходит, Максимилиан?

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. Что же происходит, Кутон?

Молчание.

Ты давно не перечитывал Руссо «Общественный договор»? Там есть такие слова: «Если кто-нибудь говорит о делах государства: «Что мне до этого?» — следует считать...» Что следует считать, Кутон?..

КУТОН *(мрачно)*. «...что государство погибло».

Молчание.

РОБЕСПЬЕР. Вы никогда не замечали, как нас мало?.. А вот Кутон даже сравнение нашел: муравейник!.. Крошечный муравейник... *(Указывает.)* Один Комитет... второй... Конвент... — и все!.. Откуда же у них сила держать власть над целой страной?.. И все-таки она есть! Пока... *(Помолчав.)* Мы же не выдумали эту Революцию, она сама... как влага, мельчайшие частицы, до поры рассеянные в воздухе... Но в какой-то момент они соберутся в тучу — и тогда гроза, молния!.. *(Как бы самому себе.)* Конечно, мы ничего не выдумывали... Мы просто всегда... честно... пытались угадать ее путь: куда?.. И не ошибиться!.. *(Нервно.)* Ну, мы же не сумасшедшие, мы же не думаем, что сильны просто так, сами по себе?.. Чем?.. Гильотиной? Армией? Комитетом безопасности? Чем еще?.. *(Орет.)* Вы что, не понимаете: все это рано или поздно тоже обратится против нас? Все, все вообще — против, если мы вдруг перестанем понимать... угадывать... *(Умолк, тяжело дышит.)*

КУТОН *(тихо)*. Ты полагаешь, Максимилиан... мы перестали?

РОБЕСПЬЕР *(помолчав, негромко)*. Когда нас душили блокада и голод, а свои негодяи все равно прятали и портили продукты лишь потому, что не могли нажиться на них... Разве мы не были правы, объявив: «Смерть скупщикам и спекулянтам!»?..» Создав Революционную армию?.. Она спасла нас тогда!.. *(Не сразу.)* И вот последние донесения наших наблюдателей... Армия входит в деревню. Грабит ее. Награбленное быстро продает тем же спекулянтам, чтоб они перепродали в городе... А деньги пропивает!.. Что осталось от Революционной армии? Два лживых слова? И все?!

Молчание.

Герцог Брауншвейгский стоял у стен, грозя сжечь Париж. Внутри — роялисты, готовящие мятеж... И мы создали Революционный трибунал. Разве не правы мы были?.. Разве не он спас нас от бесчисленных заговоров?.. И вот... Некая вдова Гайар предстает перед присяжными. В чем ее обвиняют?.. Ошибка, оказывается, разыскивалась вдова Гийар, жандармы просто не разобрались в почерке. Что делает председатель? «Будем продолжать процесс,— заявляет он,— иначе это вызовет насмешки... К тому же, рано или поздно и эта вдова все равно оказалась бы на скамье подсудимых!..»

Молчание.

В города, где были подавлены мятежи, посланы комиссары, чтобы установить окончательный порядок... Сен-Жюст сообщил нам о Шнайдере в Эльзасе... *(Подошел к столу, вынул из ящика клочок бумаги, надел одну пару очков на другую, читает.)* «Мерсье приговорен за то, что вел себя, как аристократ...» К порицанию? К штрафу? К тюрьме, наконец?.. Кутон?

КУТОН *(глухо)*. К смерти...

РОБЕСПЬЕР. А вот целая куча записок самого Шнайдера. *(Читает.)* «Гражданин! С получением настоящего письма, не откладывая, пришли нам дюжину бутылок сладкого старого вина — не то...» «Гражданин! Мы садимся обедать и ждем от тебя... Поспеши, не то...» Не то — что, Бертран?! *(Тот молчит.)* Шнайдер занял лучший особняк в городе. У каждой двери — часовые, перед домом — гильотина. Женщины, которые ему нравятся, не смеют отказать ему. *(Орет.)* Потому что он или спит с ними, или... Колло!! *(Тот молчит.)* Тальен назначен в Бордо. Казни не прекращаются и не прекратятся!.. Неужели так много заговорщиков?.. *(Читает записку.)* «Опасность существует, а мы не знаем, куда направить удар. Ну, а слепой, ищущий булавку в куче пыли, хватает всю эту пыль!..» *(Бросил записку, с грохотом задвинул ящик стола.)* Почему? Почему, я вас спрашиваю, всю пыль?!. *(Засмеялся.)* Тальену дорого обходится его любовница Кабаррюс: будучи дочерью банкира, она усвоила привычку к роскоши. И теперь за хорошие деньги любой «подозрительный» в Бордо может откупиться от гильотины,— надо только, чтоб ручеек «подозрительных» не пересыхал... *(Вновь смеется.)* В трагедии «Брут» есть такая реплика: «Надо быть тираном, чтоб по одному подозрению остановить римлянина». Зрители в этом месте зааплодировали, и мы тотчас изъяли трагедию из репертуара... А актера Лелюша посадили за то, что он декламировал: «Ничто на земле не стоит цены крови человеческой...» *(Усмешка.)* А ведь это Вольтер, его трагедию запретили!.. И Руссо — его декламировал Лелюш!.. Понимаете? Мы уже запрещаем... сами себя?!. *(Помолчав, тихо.)* Ребенок обещал быть красивым, мы так на него надеялись... *(С горечью.)* А вырос в калеку, урода, злобно крушащего все вокруг себя!.. Почему? Почему, я вас спрашиваю? *(Орет.)* У вас один, только один вопрос сегодня, да?!

Входит Переписчица.

ПЕРЕПИСЧИЦА. Меня просили сообщить: Комитет общественной безопасности заседает по тому же самому вопросу. Много деталей, чисто технических. Когда это делать — ночью, днем? Скольких брать вместе с ним? Одного нельзя — дружки поднимут шум... В общем, они предлагают объединить заседания. Ведь так или иначе — приказ подписывать всем...

КУТОН *(вдруг)*. Иди...

ПЕРЕПИСЧИЦА. Что мне передать?

КУТОН *(орет)*. Выйди отсюда!..

Пожав плечами, переписчица выходит.

ЛЕНДЕ *(нервно)*. Они уже решают: днем или ночью...

КОЛЛО. Зачем же так грубо, Кутон?.. Девочка не виновата. Кроме того, этот вопрос мы все равно должны будем решить.

РОБЕСПЬЕР *(измученно)*. Какой, Колло?

БАРЕР. Максимилиан, но пойми! Равновесие нарушено! И если мы не восстановим его сейчас же, как можно быстрее...

РОБЕСПЬЕР *(с ненавистью)*. Как, Бертран?.. Как восстановим? Опять как в мясной лавке — топором?!

БАРЕР *(смешавшись)*. Нет, но...

РОБЕСПЬЕР. Нет? Тогда как?.. Какой еще вопрос тебя волнует, тебя, несчастного, который потерял равновесие и вот-вот упадет?! Ну?.. Чего ты ждешь от меня? Кого дальше рубить? *(Трясет его за плечи.)* Ведь это? Это?!

БАРЕР *(хрипит)*. Максимилиан!..

РОБЕСПЬЕР. А если совсем не рубить, а?.. Остановиться, а?! Хватит!!. *(Орет.)* Нет? Нет, я тебя спрашиваю?!

КУТОН *(подкатился)*. Максимилиан, перестань!.. *(Оттащил его от Барера.)* Возьми себя, пожалуйста, в руки. Твое поведение недостойно главы правительства...

БАРЕР *(приходя в себя)*. Фу-у... он меня чуть не придушил...

Молчание.

РОБЕСПЬЕР *(вдруг)*. «В руки...» Руки, ты сказал?

КУТОН. Я?..

РОБЕСПЬЕР *(волнуясь)*. Кутон!.. Кутон!.. Ну, конечно же, руки. Руки!.. *(Быстро.)* Ну-ка, Карно, покажи руки!.. Покажи, покажи!.. Видишь — безымянный и указательный в чернилах! *(Волнуясь, Кутону.)* Кутон, а тот мальчик — ты не забыл? Тот мальчик, который... Кажется, он учился на хирурга?.. *(Вдруг.)* Колло, покажи пальцы. Пожалуйста! Быстрее!..

Колло, недоумевая, вытянул руки.

Ты ведь был актером?.. Играл на чем-нибудь?

КОЛЛО. На скрипке...

БАРЕР *(озабоченно)*. Максимилиан... а может, нам все-таки сделать небольшой перерыв?.. Ты не совсем здоров... Мы все устали...

РОБЕСПЬЕР *(быстро — к нему)*. Бертран, сожми кулак!.. Ну, сжимай, сжимай! *(Сам сжал, показывая.)* Вот так, крепче!.. *(Зло.)* Я ведь должен тебе доказать, наконец... Всем вам!.. Ну?.. А теперь бери перо, пиши!.. Ну?.. *(Оглянулся.)* Колло!.. А ты бери скрипку, играй!.. Ну?.. Не получается?.. *(Кричит.)* Тогда бейте, бейте!.. Колотите, больнее!.. Еще!.. Пока вы не обессилете и не упадете!.. Пока не подохнете с голоду, потому что есть нечего, вы не приготовили, вы били!.. *(Взрыв.)* Не смотрите на меня так! Я в здравом уме! *(С отчаянием.)* Что, вам даже на пальцах невозможно доказать?!

БАРЕР. Господи, но что доказать, Максимилиан? Что?!

Робеспьер обессиленно опускается на стул.

РОБЕСПЬЕР *(с трудом)*. Кулаком можно только бить. Бить и ничего больше... Мы уже почти победили. Можно разжать кулак, верно?.. *(Бареру, с улыбкой.)* Ну, давай, давай, что у тебя, руку свело?

БАРЕР *(растерянно озираясь, разжимает кулак)*. И это значит... Что же это значит, Максимилиан?

РОБЕСПЬЕР. Кулак был нужен, чтоб отбиться. Мы отбились. И разжимаем кулак...

Молчание.

ЛЕНДЕ *(волнуясь)*. Максимилиан!.. Я хочу сказать... Я счастлив, что дожил до сегодняшнего дня. Я...

СЕНТ-АНДРЕ *(встал)*. Я тоже, Максимилиан.

КАРНО *(встал)*. Ради этого ведь мы и боролись, правда?..

КОЛЛО *(вдруг)*. Подожди-ка, Карно... *(Подошел к Робеспьеру, раздельно.)* Максимилиан... а если я тебе скажу, что война еще не кончилась?..

ЛЕНДЕ. Не надо, Колло, поздно!..

КОЛЛО *(пропустив мимо ушей, Робеспьеру)*. Война не кончилась, Максимилиан, и враги...

КАРНО. Она кончится, Колло, и очень скоро, я тебе обещаю!.. Коалиция уже трещит по швам!..

КОЛЛО *(только Робеспьеру, зло)*. Хорошо... О комиссарах, видимо, и начинать не стоит... Хотя, назвав многих, ты почему-то забыл лишь про меня... в Лионе.

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. Я не забыл, Колло...

КОЛЛО. Я в этом уверен, дорогой... *(Помолчав.)* Мне хочется, чтоб ты знал: я тоже очень уважаю тебя. Сегодня еще больше, чем когда-либо... Это давно уже висело в воздухе — то, о чем ты сейчас сказал... *(Усмешка.)* Так давно, дружище, что тоже — увы! — уже превратилось в слова. Пустые слова!.. *(Подождав.)* Ты чуть-чуть заигрался словами, дорогой. И не заметил, как стал играть с огнем...

СЕНТ-АНДРЕ. Если ты опять про войну или про врагов, Колло...

КОЛЛО. Хорошо! Уже нет войны! Нет врагов!.. *(Не выдержав.)* Но и кулака никакого нет, Максимилиан! И не было! А есть тоже всего лишь слово, пузырь!.. И есть... Вот Бертран в Комитете. Остальные... Даже Ленде, что пускает сопли сейчас... Его подпись тоже стоит на приказах — и это вечная улика против него!.. Есть я в Лионе. Каррье — в Нанте. Тальен — в Бордо. Мало?.. Тогда еще. Трибуналы, Максимилиан, ты сам о них говорил. Их-то уж точно много, по всей стране! Судьи. Прокуроры. Присяжные. Осведомители. Считай, считай! Революционная армия!.. А еще 22 тысячи революционных комитетов Франции! Не слова,— полмиллиона людей!.. *(Не сразу.)* Значит, мы разжимаем кулак. А они?! Головой в булыжник?.. Ведь любой из них давным-давно уже забыл, какое у него было ремесло до Революции. Революция теперь его ремесло!.. Куда же ты их теперь денешь? После всего, что у них было? Уважение... Сила... Власть!.. *(Взрыв.)* Да еще чтоб их все время тыкали мордой в их же собственное вчерашнее дерьмо?!. Спроси сначала их — согласны ли они на это?..

Молчание.

РОБЕСПЬЕР *(глухо)*. Что же ты... предлагаешь?

КОЛЛО *(не сразу)*. Мы зашли уже так далеко... Теперь уже нельзя останавливаться, Максимилиан. Надо идти дальше. До конца.

РОБЕСПЬЕР. Дальше и не важно куда? Хоть к черту — и пусть с нами идет вся Франция?.. До конца — даже если это конец Революции? Так, Колло? Этого ты хочешь?!

КОЛЛО. Не ты — мы!.. Мы хотим, Максимилиан!.. Жить!.. И если для этого нужно идти к черту — да! Всей Франции — да, да, да!! Потому что нас тоже много!.. И мы пока еще сильны, Максимилиан, сильны просто так, сами по себе!.. Комитетами! Армией! Гильотиной!!

КАРНО. И пусть теперь не комитеты для Революции, а Революция ради комитетов?

КОЛЛО. Пусть!.. *(Робеспьеру.)* И поэтому ты восстановишь равновесие. Отдашь нам...

ЛЕНДЕ *(вскочил)*. Нет!.. Нет, Максимилиан!!

КОЛЛО. ...отдашь нам Дантона. Или...

РОБЕСПЬЕР *(хрипло)*. Или, Колло?..

КОЛЛО. Или? *(Усмешка.)* Или можешь попробовать: ему — нас. Всех... Если получится.

РОБЕСПЬЕР. Это... угроза?

КОЛЛО. Я сказал: мы хотим жить.

Молчание.

БАРЕР *(робко)*. Я не знаю... на всякий случай... Я все-таки составлю приказ, а?.. *(Озирается.)* Бумага... Черт подери, бумаги нет! *(Зовет.)* Катрин!

Входит Переписчица.

У тебя есть листок бумаги?..

ПЕРЕПИСЧИЦА. Я сейчас принесу...

БАРЕР *(взрыв)*. Здесь, с собой!

ПЕРЕПИСЧИЦА *(растерянно)*. Только конверт... чистый...

БАРЕР *(протянул руку)*. Быстро!.. *(Схватил, пишет.)*

Молчание. Все смотрят на Робеспьера.

ПЕРЕПИСЧИЦА. В Комитете безопасности тоже готовы подписывать. Ждут только вас.

ЛЕНДЕ. Максимилиан, это невозможно!

КУТОН *(тихо)*. Боюсь, они приперли нас к стенке. Их слишком много, мы не имеем права рисковать...

ЛЕНДЕ. Робеспьер!!

БАРЕР *(написал)*. Готово!.. Может быть, сразу и начнем?.. *(Помешкав, протягивает приказ Робеспьеру.)* Максимилиан...

ЛЕНДЕ *(подошел к Робеспьеру)*. Неужели ты это допустишь?.. *(Ждет, без ответа.)* Хорошо. Только без меня!.. *(И резко выходит.)*

БАРЕР *(с конвертом)*. Максимилиан!..

Робеспьер не оборачивается. Начинают бить часы.

КОЛЛО *(взял у Барера приказ, подписал. Протянул с усмешкой Переписчице)*. Отдай Бертрану. *(И вышел.)*

Бьют часы. Переписчица стоит рядом с Барером.

БАРЕР *(неуверенно)*. Максимилиан... а ты ведь больше всех нас замаран. И надеешься выпутаться?.. *(Не дождавшись ответа.)* Ладно... *(Подписал.)* Отдай Карно. *(И вышел.)*

Переписчица идет к Карно.

КАРНО *(вздохнув)*. Мы все-таки еще не подписали мир, Максимилиан... *(Подписал.)* Отдай Сент-Андре. *(Вышел, опустив глаза.)*

СЕНТ-АНДРЕ *(развел руками)*. Я отвечаю всего лишь за флот, Максимилиан... *(Подписал.)* Отдай Кутону. *(Вышел.)*

Переписчица отдает приказ Кутону.

КУТОН *(глухо)*. Выйди, Катрин.

ПЕРЕПИСЧИЦА. А приказ? Я должна его отнести.

КУТОН. Я сам отнесу. Выйди.

ПЕРЕПИСЧИЦА. Там уже нервничают...

КУТОН. Вон!!

Переписчица выходит. Пауза.

(Робеспьеру, с трудом.) Я не хотел при всех... Но ведь по твоей логике выходит... мы оставим жизнь не только «снисходительным». Если мы разжимаем кулак, мы возвратим в Конвент и жирондистов, которых сами изгнали. И фейян... По твоей логике — всех, все партии, да? *(Взрыв.)* Почему ты молчишь? Ты что, не видишь: вся эта затея блеф, она обречена?!

РОБЕСПЬЕР *(негромко)*. Почему?.. Разве не ради этой затеи мы и начали все? Разве эта затея, Кутон, не называется Свобода?..

КУТОН. Да, Максимилиан! Свобода! Свобода!.. Но только в теории! А в реальности — слышишь? В реальности никогда, ни в одном Конвенте мира палачи не сядут на скамью рядом с жертвами!.. Они смогут лишь уступить им место — и то, если их заставят уступить. Силой!.. Ты в состоянии сделать это сейчас? У тебя хватит сил?!.

Молчание.

(Глухо.) Их больше, Максимилиан. Надо нести приказ... Пошли.

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. Иди...

КУТОН *(упрямо)*. Вместе. *(Ждет, потом потянул за руку.)* Пожалуйста!..

Но Робеспьер резко вырвал свою руку.

(Не сразу, сдавшись.) Ну, хорошо — подтолкни хотя бы кресло, а дальше я сам... *(Ждет. Тщетно. И выкатывается сам.)*

Робеспьер стоит, потом кулаком разбивает оконное стекло и дышит, дышит...

10

В небольшую залу «веселого» заведения с диким ревом влетает Дантон, втаскивая за собой стол, уже накрытый к обеду.

ДАНТОН. Вот! Так-то оно будет лучше!

Вслед за ним входят Барон и две девицы.

(Девицам.) «Колпак», ну-ка, раздерни шторы и открой окна! Живей, живей!.. А ты, «Корона», марш за клавесин и луни посильнее, чтоб на улице слышали!..

«КОЛПАК» *(удивленно)*. Жорж, но ты ведь сам просил, чтоб накрыли в комнате без окон...

ДАНТОН. Делай, что тебе говорят, и не болтай!.. *(Откупоривает шампанское, целится в прохожего через раскрытое окно.)* Ну куда ж ты так спешишь, милый...

Входит Демулен, Дантон его не видит.

(Пробка вылетела.) Попал!.. Привет от Дантона, парень! *(Хохочет. Оборачивается. Удивленно.)* Ты, Камилл?.. Так

незаметно появился, совсем как шпион из Комитета безопасности...

ДЕМУЛЕН *(сухо)*. Но ты, я вижу, уже их не боишься?.. Такая явная демонстрация... *(Зло.)* Хочешь, чтоб уже, наконец, весь Париж поверил: да, Дантон порочен!

Входит Люсиль.

ДАНТОН *(опешив)*. Люсиль?! *(Демулену.)* Зачем ты притащил ее сюда?

ЛЮСИЛЬ. Это я его притащила... Где же еще искать Дантона? Если не в кабаке, то здесь...

ДАНТОН *(девицам, собравшимся было уйти)*. Останьтесь... *(Люсиль, с усмешкой.)* Значит, Дантон порочен... Ты тоже поверила этим постным рожам из комитетов... *(И захохотал.)* Как они говорят?.. Что ни ночь, Дантон предается разврату с девицами из сомнительных заведений!.. *(Девицам.)* «Колпак», это правда?

«КОЛПАК». Жорж, ты меня поражаешь!

ДАНТОН. И делает это, оказывается, только при закрытых дверях и опущенных шторах — чтоб, видите ли, не подмочить свою репутацию вождя!.. *(Хохочет.)* «Корона»!

«КОРОНА». Маленький мой, не скажу про шторы, но одеялом мы, точно, не укрываемся...

ДАНТОН. И, наконец, он дал клички девкам: одной «Колпак», другой «Корона» и этим, оказывается, невольно выдал... *(Хохочет.)* Нет, не могу!

БАРОН. Какую-то государственную тайну, Жорж?

ДАНТОН *(хохочет)*. Всего лишь свою привычку, барон, пользоваться услугами по очереди: то монархии — короны, то республики — колпака!.. *(Вдруг резко оборвал смех.)* Ложь! Наглая ложь, сначала и до конца!.. *(Схватил девиц.)* Посмотрите на этих кошек: ну, какие они, к черту, девицы?.. *(Смех.)* И почему заведение сомнительное?.. Кто-нибудь, когда-нибудь сомневался, простите, в его предназначении?.. А сказать мне, Дантону, что я от кого-то прячусь?.. Закрытые двери, шторы... *(Орет в окно.)* Э-эй! Узнаете меня? Я Дантон! И уже пьян в стельку! С самого утра!.. *(Смех, повернулся к Демулену.)* И, наконец, клички! Что значит: я и... «невольно выдал»?.. Да я скажу любому, прямо в глаза: да, и монархия, и республика!.. Но только не по очереди, милые мои, а одновременно! И не пользуюсь какими-то там непонятными услугами, а, извините, как и положено мужчине... *(Следует непристойный жест.)* И ту, и другую! Вместе!.. Осточертели!..

Молчание.

ДЕМУЛЕН. Я вижу, ты очень доволен собой, Жорж...

ДАНТОН. Тебе стыдно за меня, мой мальчик?.. *(Вдруг резко.)* Прикажешь радоваться, как ты во время сегодняшней казни?.. Говорят, ты был просто вне себя от восторга! И поносил несчастных самыми отборными ругательствами!..

ЛЮСИЛЬ. Ну, если говорят отборными... Видимо, даже ругаясь, мой муж как-то еще умудряется сохранить свой стиль...

ДАНТОН *(зло)*. И даже опустился до того, что подстрекал чернь к поношениям!.. И ко всему этому еще приплел мое имя. «Да здравствует Дантон!..» Не надо!! Я призывал к милосердию, к милосердию, и только!..

ДЕМУЛЕН. Милосердие тоже порой требует жертв. Иногда приходится лишить жизни одного или нескольких, чтоб сохранить ее многим.

ДАНТОН. Бред!

ДЕМУЛЕН. Сотням, Жорж!

ДАНТОН *(даже взвыл)*. Числа, Камилл, числа!..

ДЕМУЛЕН *(упрямо)*. Да, но они имеют смысл...

ДАНТОН. Они бессмысленны! Абстрактны — как вся математика! И нечего прибавлять к ним какие-то слова — пустое! Числа существуют лишь сами по себе и ради самих себя!.. При чем тут люди?.. Зачем эти «лишить», «сохранить»? Говори проще: минус один — плюс сто! И все ясно!..

ДЕМУЛЕН *(с трудом)*. Пусть так...

ДАНТОН. А минус сто — зато плюс тысяча!.. Ну, а если минус тысяча?.. Конечно! Ведь тогда плюс сто тысяч!.. А потом и миллион!.. *(Орет.)* Это поток, мальчик!.. Достаточно в него один раз ступить...

Молчание.

ДЕМУЛЕН. Очень красиво, Жорж... Однако это именно ты разговариваешь абстрактно. Ты, а не я... *(Заводясь.)* Прости, но чего стоят все твои призывы к милосердию, если они кончаются лишь вздохами?.. Ты просто жалеешь этих несчастных «подозрительных», которыми забиты тюрьмы?.. Просто жалеешь?.. *(Зло.)* А я думаю о тех, кто их туда безвинно запихнул!.. У меня перед глазами Эбер, вопящий: «Мало! Еще!..» Мне почему-то каждую ночь снится Колло в Лионе. Его команды: «Орудия, к бою!.. Пли!..» Треск картечи, косящей безоружную толпу!.. Кавалеристы, добивающие выживших! За сапоги, Жорж! За сапоги, которые им были обещаны как добыча и которые они отрезали вместе с ногами!

«КОРОНА» *(взмолившись)*. Камилл, умоляю вас, хватит!

ДЕМУЛЕН *(Дантону)*. Математика, Жорж? Числа, не надо ничего прибавлять?.. А я прибавлю: комиссар Каррье! В Нанте!.. Это он сажает по сто человек в барку, связывает, везет на середину Луары... и вдруг дно проваливается!.. И — минус сто, Жорж! В день!..

БАРОН. Действительно довольно, Камилл...

ДЕМУЛЕН *(Дантону)*. И сегодня уже вся Луара заражена трупами! До самого устья!.. Посчитай, сколько же это трупов... Не числа, Жорж! Уже не числа!..

ДАНТОН *(взрыв)*. Да, Камилл, да! Может быть! Но что я-то могу сделать?! Я не заражал Луару, не назначал Колло и Каррье и уж подавно не могу отозвать их!.. Уже год, как я вышел из Комитета. Год! Я такой же рядовой депутат Конвента, что и ты! *(С горечью.)* А что может сегодня депутат?.. Еще меньше, чем при короле...

ДЕМУЛЕН *(усмешка)*. При короле, помнится, ты не боялся выйти на улицу. К народу!.. И бросить клич, чтоб за тобой пошли! Как прежде, Жорж!..

ДАНТОН. Куда?.. *(Тихо.)* Куда, Камилл?..

ДЕМУЛЕН. И это говорит мне... Дантон?.. Тот самый Дантон?

ДАНТОН. «Дантон! Дантон!..» Надоело! Все только и делают, что жуют это дурацкое имя!

ЛЮСИЛЬ *(усмешка)*. У-у! Мы уже, оказывается, и имени своего боимся...

ДАНТОН. Если оно вам так нужно, заработайте его себе сами, как я — горбом, глоткой!.. Или возьмите себе мое, дайте мне любое другое,— только отстаньте!

ЛЮСИЛЬ *(продолжая)*. ...а главное — боимся самого себя, прежнего... Еще бы! А вдруг кто-нибудь подумает: Дантон?.. Ведь он все еще тот же самый — «вождь Революции»! «Трибун»! «Вельможа санкюлотов»!.. Как там тебя еще называли?.. *(Не сразу.)* Ты бы, конечно, предпочел, чтоб об этом забыли, и поскорей, верно?!.. Тот Дантон, он ведь может оказаться и опасным кому-то?!.. А нынешний... *(Усмешка.)* Да ведь у него лишь девки на уме!

ДАНТОН. Заткнись, дура!!

ДЕМУЛЕН *(вспыхнув)*. Что ты сказал?

И тотчас вмешивается Барон.

БАРОН. Все, все, все! Успокоились!.. Камилл, Люсиль, идите-ка сюда! *(Берет его под руку, отводит. Оборачивается.)* Девочки, что вы стоите, займитесь Жоржем!.. *(Демулену, вполголоса.)* Ведь вы уже взрослый мальчик, Камилл! Откуда же такая нетерпеливость?.. Вам неймется выйти на улицу? Идите погуляйте, подышите воздухом! Возьмите жену, наконец, если вам одному скучно!.. Но только не надо опять эти «кличи к народу», пожалуйста. Хватит!.. Народ сам погуляет! Без вас! Уже гуляет!.. *(Удерживает.)* Слушайте. Слушайте меня, старого человека!.. Недавно я по дешевке купил дом. Только это красиво сказано... Руины!.. Но когда-то, сто лет назад, это был действительно дом, там жили некие супруги Аруэ. И, между прочим, так жили, что у них даже родился мальчик, Франсуа-Мари. Вы понимаете? Франсуа-Мари Аруэ!.. Ну, Камилл! Вы же грамотный человек!..

ДЕМУЛЕН. Вы хотите сказать...

БАРОН *(ликуя)*. Именно! Сам Вольтер!.. Так вот, не далее, как вчера, нашлась-таки богатая идиотка, которая за эти руины отвалила мне...

ЛЮСИЛЬ. Опять деньги, барон?..

БАРОН *(вздохнул)*. Что делать, все просто помешаны на вашей Революции!.. Но вы понимаете, к чему я веду?.. *(Серьезно.)* Дантон знает, что делает. Если хотите, Дантон, это самое выгодное дело сегодня. В него можно вкладывать. Только, повторяю, не надо никуда торопиться, все эти «выйдем на улицу!», не дай бог!.. Слушайте!.. Сначала вы играли на понижение, так? Акции падали, вы скупали их буквально за гроши...

ДЕМУЛЕН *(раздраженно)*. Не понимаю, барон! О чем вы?..

БАРОН. Как? А весь этот ваш шум насчет милосердия?.. Кому он был нужен еще вчера?.. Но сегодня, когда война быстро-быстро идет к концу... а ваш конкурент Эбер, извините, уже к нему просто-таки пришел... Кажется, наши акции уже потихонечку растут, а, молодой человек?.. Ну, а завтра, когда мы победим, и это военное положение — или

как оно у вас там называется? Диктатура? — так вот, когда ее наконец отменят, к черту?.. Кому будут нужны все эти люди — сегодняшние, с ног до головы вымазанные кровью?.. *(Хихикая, повернулся к Дантону.)* И вот тогда входишь ты, Жорж! Чистенький! В голубом фраке, золотистых панталонах и зеленом галстуке! Небо, солнце, трава! Все — по Руссо! *(Хохочет.)*

«КОРОНА». Ура!!! *(И лупит по клавесину.)*

«КОЛПАК». Шампанского!..

И в это время входит Робеспьер. Бренчание, хохот резко обрываются.

ДАНТОН *(быстро справившись с замешательством)*. Максимилиан!.. *(Направляется к нему, чтобы обнять. Передумал.)* А может, ты ищешь Камилла?

РОБЕСПЬЕР. Нет, Жорж, тебя...

Он словно не замечает остальных, и они уходят.

ДАНТОН *(вслед)*. Куда вы?..

Но они уже ушли.

РОБЕСПЬЕР. Искал у тебя дома... в Конвенте... у якобинцев. А нашел здесь.

ДАНТОН. И пришел мне читать мораль?.. И ради этого распугал всех моих собутыльников?.. Но учти, это будет уже вторая сегодня, я могу и взбеситься!..

Робеспьер прошел к столу, сел. Молчит. Дантон наполнил еще один бокал, придвинул к Робеспьеру.

Попробуй. Это шампанское мне поставляет Жак. Помнишь? Из того самого кафе в Пале-Рояле... *(Хочет чокнуться.)*

Но Робеспьер не пошевельнулся.

(Раздраженно.) Ты будешь пить или нет?.. *(Ждет. Тщетно.)* Напрасно,— божественный напиток!.. *(И выпил один.)*

Молчание.

Тогда выкладывай побыстрей, что тебе от меня нужно, и убирайся! Я не люблю пить в одиночестве... *(Ждет. Тщетно.)* Что ж, не люблю, но придется... *(Выпил бокал Робеспьера.)* Послушай, еще бокал — и я буду пьяным, как свинья!.. *(Ждет. Смеется.)* Ну, хочешь — я за тебя?.. *(Но прежде выпил третий бокал.)* Сейчас... я только справлюсь со своим языком — он уже малость заплетается... Итак, зачем же ты пришел?.. *(У окна.)* Потому что ты казнил этих маньяков вовсе не для того, чтобы остановить убийство. Ты просто убирал соперников... Но видишь, как все неожиданно повернулось: народ почему-то кричит не «Да здравствует Робеспьер!», а «Да здравствует Дантон!» Это опасно!.. У тебя снова соперник!.. *(Вдруг резко.)* Максимилиан! Но народ еще и кричит: «Да здравствует Милосердие!» — неужто это так трудно расслышать?.. Или ты настолько заигрался словами, что и милосердие для тебя — тоже лишь ловкий лозунг, чтоб только дорваться до власти?.. Что ж в ней такого притягательного, а?.. Я б, например, не задумываясь, отдал ее за любую мало-мальски крепенькую женскую задницу!.. И еще б приплатил!.. *(Хохочет. Поднял бокал.)* Друг мой!.. За женскую задницу!.. *(Выпил.)* Кстати, как поживает Элеонора?.. Ты поступаешь дурно, что не женишься на ней. Марат тоже все оттягивал, оттягивал с Симоной... Что из этого вышло? Она называет себя его вдовой, а люди только посмеиваются...

Молчание.

Ты бесподобный собеседник, старина!.. *(Хотел наполнить бокал — бутылка пуста.)* Ну вот... Что будем делать?.. *(Плюхнулся на стул рядом. Сменясь, толкнул Робеспьера локтем.)* Слушай!.. А когда ты вообще последний раз спал с бабой?.. Кстати, ты случайно не болен, нет?.. Знаешь, бывают такие неприличные болезни... *(Хохочет.)* Нет, не то?.. Значит, что же... ты добровольно лишил себя этого блаженства?.. Но тогда это совсем ужасно!.. *(Хохочет.)* Нет, я просто умру от смеха!.. *(Обнял.)* Маленький мой, пойми: Бог или Природа, не важно, ведь они зачем-то создали эти тяжелые жаркие женские груди?.. Сказать зачем? Чтоб ты, дуралей, мял их в ладонях, щекотал губами, тревожил кончиком языка!.. Этот зовущий живот — сначала упругий, а потом мягкий, податливый!.. Эти ноги — подобно змеям, обвивающие и сжимающие твое тело!.. А рот?!. И, наконец, лоно, Макс, лоно — таинственное, бездонное, влажное!!. *(Хохочет. Потом — прекратил. С презрением.)* Дорогой, ну как ты можешь радеть о всеобщем счастье, когда сам и понятия не имеешь, что это такое?..

Молчание.

РОБЕСПЬЕР *(с трудом)*. Жорж...

ДАНТОН. О боги, он заговорил!!

РОБЕСПЬЕР. Ты мне все время мешал — и я так и не сумел сформулировать... Эта твоя бравада...

ДАНТОН. Заговорил, заговорил!.. И это мы непременно обмоем!.. *(Вскочил, озирается.)* Не может такого быть, чтоб не осталось еще хоть одной бутылочки... *(Ищет.)*

РОБЕСПЬЕР *(о своем)*. ...и еще эти твои смешные подозрения, что ты — мой соперник... Если б я этого боялся — зачем мне приходить к тебе?.. Как говорит Колло, «есть Сансон...».

ДАНТОН *(на миг прекратил поиски)*. Что?..

РОБЕСПЬЕР *(тихо, волнуясь)*. Ты сказал: «...не для того, чтобы остановить убийство...» Я хочу его остановить. Но не знаю, как это сделать. Река вышла из берегов, Жорж, и сегодня я уже не знаю, куда она течет?! Зачем?.. Не понимаю, не могу угадать!

ДАНТОН. Эта твоя река, она, как и Луара, сплошь заражена трупами. При одном воспоминании меня начинает мутить!

РОБЕСПЬЕР *(упрямо)*. И все-таки, Жорж... Как сделать, чтоб палачи перестали казнить, но не боялись, что жертвы им отомстят и, следовательно, сами сделаются палачами?.. Как разорвать этот порочный круг? *(Ждет.)* Жорж!..

ДАНТОН *(вновь ищет)*. Плохо дело, дружок.

РОБЕСПЬЕР. Но ведь ты призываешь к Милосердию, значит, ты знаешь — как?..

ДАНТОН *(раздраженно)*. Плохо дело: я начинаю трезветь, а вина нигде нет!

РОБЕСПЬЕР *(упрямо)*. Речь идет о Революции, Жорж. Ее надо спасать!

ДАНТОН. Ее надо забыть!.. *(Твердо.)* Максимилиан, уходи. Ты все равно ничего от меня не добьешься. Делайте, что хотите, а я даже слышать не могу об этой нашей с тобой Великой Революции! Она давно уже не моя и не великая!.. Спасать?.. Пусть она лучше сдохнет поскорее!!

РОБЕСПЬЕР. Дантон!!

ДАНТОН. Что — Дантон?.. Опять — Дантон, Дантон!..

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. Это ведь наш ребенок, Жорж... Нас было трое с самого начала. Марата зарезали. Остались ты и я...

ДАНТОН. Нет, Максимилиан, ты один!.. И то — ненадолго, потому что и тебя когда-нибудь прикончат твои же дружки из Комитета!.. Вы будете резать друг друга, пока от вашей Революции не останется лишь куча костей!.. Это и есть ваша Революция!..

РОБЕСПЬЕР. Нет!

ДАНТОН. Да, Максимилиан, да!.. А вот я — я буду жить!.. Я, слава богу, вовремя соскочил с этого... с этого дерьма!.. Жить, и жрать, и спать с девками... И сдохну — тоже на какой-нибудь молодухе лет пятнадцати! От избытка чувств!! *(И вновь ищет.)*

Молчание.

РОБЕСПЬЕР *(просто, тихо)*. Но если ты прав... если все так и есть... Зачем нам тогда жить?.. Если ничего уже не спасти,— тогда зачем?.. Нет никакого смысла...

ДАНТОН *(взрыв)*. Боже, он — фанатик!.. Максимилиан! Да что такое Революция? Их может быть пять, десять, удачных, неудачных, а жизнь одна и другой не будет!..

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. Но — зачем?..

ДАНТОН *(внезапно орет)*. Нашел!! *(И вынул откуда-то бутылку.)* О Господи, как ты милостив ко мне!.. *(И пьет из горлышка. Потом — Робеспьеру, глухо.)* Ты помнишь, как умерла Габриэль? Уже почти год прошел... Помнишь или нет?.. Я тогда был в отъезде. А когда вернулся — все уже было кончено: ее заколотили в ящик и завалили землей. Горой земли! — и это знаю, потому что я ее раскопал! Вот этими вот руками! Лопатой! Ночью!.. Я не верил им, мне надо было самому, своими глазами!.. Габриэль не могла так бесстыдно бросить меня!.. *(Не сразу.)* Она стала безобразной... Опухшая, полуистлевшая... Ничего, кроме отвращения, она не могла вызвать... *(Не сразу.)* И тогда я понял: потом — ничего не бывает. Потом — это грязь... сладковатая вонь, от которой все время хочется блевать... И еще червячки, Максимилиан, тысячи, миллионы маленьких белых шевелящихся червячков — в глазах, во рту... И все, Максимилиан, больше ничего!..

Молчание.

(Наполнил бокал. Устало.) Мы ведь как-то жили до Революции, правда? Вот, проживем и после нее... *(Выпил.)* Ну, ты понял меня, наконец?

Молчание.

РОБЕСПЬЕР. Кажется, понял, Жорж... Однако чтобы просто желать жить — зачем было рождаться Дантоном? Вообще — человеком?.. Этот примитивный инстинкт свойствен и животным...

ДАНТОН *(равнодушно)*. Ну, так я животное...

РОБЕСПЬЕР. И столько страсти, чтоб доказать это?.. Достаточно было встать на четвереньки и заскулить...

ДАНТОН. Сколько угодно, дорогой!.. *(И действительно, сполз со стула и встал на четвереньки. Заплетающимся языком.)* Похоже??.

РОБЕСПЬЕР *(встал)*. Ты прав, Жорж, я один... Прощай! *(Уходит.)*

ДАНТОН *(вслед)*. Фанатик!.. Кастрат!.. Евнух!..

В такой нелепой позе и застали Дантона Барон, Демулен и девицы.

БАРОН *(неуверенно)*. Все-таки я прав, а, Жорж? Времена меняются. Всемогущий Робеспьер — и вдруг пожаловал в гости... к кому? К рядовому депутату?.. И, верно, заискивал, а?..

ДЕМУЛЕН. Он вылетел отсюда как ошпаренный...

ДАНТОН. Руку, Камилл!..

Демулен помогает ему подняться.

(Девицам.) Жак не приходил?.. Черт возьми, у нас кончилось шампанское!..

В это время — громкий стук в дверь.

Наконец-то!.. «Корона», открой дверь.

«КОРОНА» *(вдруг напряженно)*. Жорж... похоже, это стучат не молотком.

ДАНТОН. То есть?

«КОРОНА». Ружейным прикладом, Жорж... Они всегда так стучат, когда приходят арестовывать...

Стучат сильнее. Крики: «Откройте!.. Именем Республики!»

ДАНТОН *(зло)*. «Корона», делай, что тебе говорят. Пойди и открой дверь! Это Жак!..

Девица уходит.

БАРОН *(Дантону)*. Отсюда есть второй выход — можно попробовать уйти.

ДАНТОН *(не поняв)*. Куда?

БАРОН. Ну, я не знаю... за границу!

ДАНТОН. Вы шутите, барон?..

БАРОН *(вдруг разозлясь)*. «Барон. Барон!..» Хватит!.. Это единственный прокол за всю мою жизнь. Я купил этот титул просто за ненормальные деньги. Через год — Революция, и что?

Входит Гвардеец.

ГВАРДЕЕЦ. Гражданин Дантон, именем Республики — ты арестован!..

Молчание. И в это время входит Жак с большой корзиной.

ЖАК *(улыбаясь)*. Двери, окна — все нараспашку! Узнаю Дантона!..

ДАНТОН *(удивленно)*. Жак!.. *(И хохочет.)* Жак собственной персоной! *(Гвардейцу.)* По бокалу шампанского, ребята? На дорожку...

ГВАРДЕЕЦ *(поколебавшись)*. Можно, гражданин...

ЖАК *(с опаской поглядывая на Гвардейца, вынимает из корзины бутылки)*. Ты представляешь, Жорж? Хотел послать к тебе мальчишку, того, что у меня прислуживает... Нету! С самого утра смылся на площадь. И хоть бы казнили кого-нибудь интересного, а то — обычные, рядовые изменники... Шушера!.. Но ему лишь бы не работать!..

ДЕМУЛЕН *(через силу, улыбаясь)*. Да, молодежь теперь пошла...

ЖАК. И не говорите, гражданин Демулен! Никто не хочет трудиться, одни развлечения на уме...

Услышав имя, Гвардеец повернулся к Демулену.

ГВАРДЕЕЦ. Гражданин Демулен!

ДЕМУЛЕН *(вздрогнув)*. Да?

ГВАРДЕЕЦ. Именем Республики — ты арестован!..

ДЕМУЛЕН *(не сразу, выдавив улыбку)*. Видишь, Жак, я как раз хотел сказать тебе... скоро будут казни и поинтереснее.

ЖАК *(опешив)*. Господи... *(Робко.)* Так я, пожалуй, пойду, а?..

БАРОН. Тут уж надо не идти, старина... Тут надо бежать... Бежать!.. *(И быстро уходит.)*

11

Мастерская Давида. Свечи. Давид и Переписчица в ночных рубашках. Множество подрамников.

ДАВИД *(страшно возбужден)*. Смотри! Смотри скорей, Катрин!.. Чувствуешь уже?.. О, это будет совсем уж небывалое зрелище! Самое небывалое в истории!.. *(Тянет ее за руку.)* Видишь?.. Все улицы — в цветах, в каждом окне — флаг! Сена кишит лодками, и на каждой лодке — ленты!.. Ощущаешь размах?.. И все люди, все до единого — участники шествия!.. В руках букеты колосьев и фруктов, девушки, естественно, с корзинами... Ладно, с этим все ясно... *(Меняет эскиз.)* Что это у нас?.. А! Гильотина! Будет аккуратно задрапирована... Ладно, с этим тоже все ясно... *(Меняет эскиз.)* Статуи!.. Мы поставим четыре... нет, пять колоссальных статуй!.. Во-первых, Природа, это понятно... во-вторых...

ПЕРЕПИСЧИЦА. Слушай, а в честь чего праздник?..

ДАВИД. Что?.. *(Смотрит на нее.)* Катрин, ты сумасшедшая? Где ты живешь — ты хоть знаешь?..

ПЕРЕПИСЧИЦА. Сегодня — у тебя...

ДАВИД. Нет, ты серьезно?.. Потрясающе! Сама невинность!.. *(Вдохновенно.)* Девочка, у нас теперь будет столько праздников! *(С легким безумием.)* Мы должны, наконец, сплотиться, понимаешь?.. Тесно! Еще теснее! Окончательно!.. Вокруг чего-нибудь, не важно чего, понимаешь?.. Мы отменили Бога — что же, нам теперь не во что верить?.. Есть! У нас будут праздники! Все время! Просто через день! Просто каждый день, понимаешь?.. Слушай, я считаю! В честь Верховного существа — раз?.. И мы уже вышли навстречу друг другу.

ПЕРЕПИСЧИЦА. Вышли, Давид!..

ДАВИД. В честь Природы — два?.. Мы уже ближе, ближе... В честь Свободы, Равенства, Братства — три, четыре, пять!.. Мы уже совсем близко... мы протянули друг другу руки... Коснулись ладонями...

ПЕРЕПИСЧИЦА. И губами, Давид, и языком!..

ДАВИД. В честь Воздержания! Бескорыстия! Сыновней почтительности!.. Мы прижались друг к другу... обнялись...

ПЕРЕПИСЧИЦА. И это платье, которое вечно мешает!..

ДАВИД. В честь Республики! Революции!

ПЕРЕПИСЧИЦА. И я голая! И все люди — братья, и я обнимаю — всех!

ДАВИД. Конституции! Декларации! Мы слились, Катрин!.. Мы, наконец, сплочены!..

ПЕРЕПИСЧИЦА *(в восторге)*. Да, Давид, да!.. И ты увидишь: я вся в таких красных полосках — и шея, и грудь, и живот!.. Будто тесак падал тысячу раз, и все на меня, на меня!..

ДАВИД. Праздник, Катрин, праздник!..

И сразу — площадь, толпа... Звучит гимн Природе. На ступенях, ведущих к подножию статуи,— члены Комитета... Внезапно музыка оборвалась. Ее сменила барабанная дробь.

ГЛАШАТАЙ. Постановлением Революционного трибунала от сего дня 16 жерминаля II года Свободы... К смертной казни посредством гильотинирования приговаривается... *(Читает.)* Дантон Жорж Жак, 36 лет, депутат Национального конвента... *(Махнул рукой.)* Поехали!..

Дробь... Но толпа угрюмо молчит.

(Читает.) Демулен Камилл, 35 лет, журналист, издатель газеты «Старый Кордельер», депутат Национального конвента...

Дробь... И вдруг из толпы — пьяный крик: «А чего же колбаса по случаю праздника? Печеночная-то? Эй, мы без колбасы не согласны!..» (Пусть это кричит «Колпак».) Толпа зашумела... Но Глашатай уже в другом месте, из другого времени...

ГЛАШАТАЙ. Постановлением Революционного трибунала от сего дня 24 жерминаля II года Свободы... К смертной казни посредством гильотинирования приговариваются...

«А я говорю, так не пойдет! Колбасы давай!.. Пирогов!..» — прерывает Глашатая пьяный крик («Корона»). «Вина по случаю праздника!.. Не то мы пошли, ясно?..» И вдруг кто-то загорланил «Карманьолу». А кто-то начал бешено плясать, бешено топая... Вбежал торговец (Жак) и начал торопливо: «Колбаса печеночная по случаю праздника с чесноком — с перцем! Окорока! Пирожки нантерские!..» И он же: «Цепочки медные, серебряные!.. Перстни с рельефным изображением Марата и других святых мучеников Революции!..» «Лимонад кислый, лимонад сладкий!..» Тотчас возникла жестокая свара: две женщины («Колпак» и «Корона») выдирали третью, молодую (Розу) из «хвоста» за окороками.

— А я говорю, выйди из очереди, ты тут не стояла!

— Стояла я!

— А я говорю, выйди!

— А я говорю, не выйду!

— Нет, выйдешь! И в «хвост» станешь, как все!

— Пусти, гадина! — И вдруг, изловчившись, Роза укусила проститутку за руку. Началась драка. Розу били уже ногами.

— На, получай!.. Стояла она!..

ГЛАШАТАЙ. ...Демулен Люсиль, вдова казненного ранее Демулена Камилла...

«Эй, ребята! Наших бьют!» — раздался вопль Газетчика, и толпа ринулась к дерущимся.

Эбер Жаклин, вдова казненного ранее Эбера Жака Рене...

Драка, шум, крики, праздник, казнь — все смешалось. Кто-то пляшет, срывая с себя одежду (Переписчица), Барон, одетый в дорожный костюм, пробирается сквозь толпу, волоча сундуки, приговаривая: «Бежать, бежать...» И сквозь все это крик молодой женщины: «Помогите!.. Помогите!..»

12

Вспышка молнии, гром, шум грозы... Праздник погружается в темноту... Потом хлопнула дверь, зажглась свеча. Робеспьер зашел в комнату. Сбрасывает с себя мокрый фрак, парик. Ищет очки...

РОБЕСПЬЕР *(шепотом)*. Мальчики, вы здесь?.. Молчите?.. Сейчас... сейчас я найду очки... Ну? Где вы прячетесь? *(Озирается. В глубине у стены что-то поблескивает.)* Стой!.. *(Бросился туда. Грохот. Что-то упало и разбилось.)* Ну, вот... Сейчас явится Элеонора, будет ругаться, что я насорил... уложит в постель. *(Осенило.)* Я знаю, что я сделаю!.. *(Хватает массивное кресло, тащит.)* Прижму креслом дверь. Да еще сам сяду — пусть попробуют открыть!.. *(Тащит, раздраженно.)* Господи, ну помогите же мне кто-нибудь!.. *(И тотчас испуганно.)* Нет!.. *(Шепотом.)* Мальчики!.. Обиделись?.. Пожалуйста, не обижайтесь!.. Я почему-то все время забываю, что вы не можете помочь: у вас нет рук... *(Вдруг усмешка.)* А все равно хочется жить, да?.. Конечно, вы имеете право. Если нет ни Эбера, ни Дантона — кому затыкать глотку вашими головами? Но ведь ты не будешь уже хирургом, Пьер!.. А ты — знаменосцем, Жером. Кисти-то новые у вас не вырастут... И все равно, да? Все равно?! *(Забеспокоился.)* Мальчики... а вы... вы вообще-то живы?! А?.. Слушайте, это очень важно!.. Вы живы?.. Ну, ответьте же!.. *(Ждет.)* У меня теперь часто бывает жар... бред... И ничего страшного: жару часто сопутствует бред!.. *(Кричит.)* Слушайте, отвечайте же наконец, вы живы... или вы... бред?! Ну?!

В это время кто-то толкнул дверь, кресло перевернулось, Робеспьер растянулся на полу... В комнату вкатывается Кутон.

КУТОН *(жестко)*. Вставай, Максимилиан. Я не могу тебя поднять, не то я тоже упаду...

Робеспьер тяжело поднимается.

Почему ты сидишь в потемках? *(Сам зажигает свечи. Увидел осколки.)* Зачем ты разбил бюст?.. Два бюста... Зачем ты их вообще притащил сюда? А если уж притащил, что за развлечение колотить собственные бюсты?!

Робеспьер подходит к третьему — а в комнате при свете видно много бюстов, изображающих Робеспьера разных размеров,— и, едва коснувшись рукой, опрокидывает.

(Еле сдерживаясь.) А убирать все — Элеоноре... Если ты не женишься на ней, зачем так нагло пользоваться ее любовью?

РОБЕСПЬЕР *(зло)*. Меня любят тысячи баб, Кутон! Почитай письма, я их получаю ежедневно!.. «Руку, сердце — и 40 тысяч ренты!.. 80 тысяч!.. Сто!.. И все они носят медальоны с моей рожей на груди! И заказывают эти идиотские бюсты!.. А я их бью! И буду бить!!

КУТОН. Все равно у тебя не хватит денег, чтобы разбить все. Их слишком много...

РОБЕСПЬЕР. Очки... где-то были очки... Ты не видел?

КУТОН. Они у тебя на носу.

РОБЕСПЬЕР *(резко)*. Вторая пара, Кутон. Для того, чтоб твое глупое лицо не расплывалось у меня перед глазами, я вынужден надевать одну на другую...

Ищет. Наконец нашел.

КУТОН. В Париже плохо, Максимилиан. Уже возникла проблема с кладбищами — не хватает места хоронить. С площади, где гильотина, вообще перестали убирать трупы: присыпают их известью, но при такой жаре все равно вонь, как на мясобойне! *(Взрыв.)* Почему ты не появляешься в Комитете? Почему вот уже полтора месяца тебя никто не видит в Конвенте? Ты думаешь, сбежал — и, значит, чист? Ну так знай: вся кровь, которую эти безумцы проливают ежедневно,— они это делают твоим именем! Только твоим! Именем Робеспьера!.. И сегодня ты самый грязный во Франции! Самый грязный мясник!..

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. Я это знаю, Кутон...

КУТОН. И сидишь?! А может, ты, как и Сен-Жюст, считаешь, что зла все еще недостаточно? Что оно не дошло еще до того предела, когда «народ сам почувствует необходимость блага»?.. Чем хуже — тем лучше?!. Ошибка, Максимилиан... Предел — он уже наступил. Но почему-то он не хочет никакого блага! Он ничего не хочет... Забыться! На время! А лучше — навсегда! И люди уже доносят сами на себя, гильотина перестала страшить, она — избавление, Максимилиан! Избавление!!

Молчание.

(Взяв себя в руки.) У тебя есть закон. Твой закон. И параграф. Твой параграф! Если ты забыл, я тебе напомню, он звучит так...

РОБЕСПЬЕР. Я не забыл...

КУТОН. «За корыстное или коварное использование постов, доверенных Революцией...»

РОБЕСПЬЕР. Я помню, Кутон...

КУТОН. «А также мер революционного правосудия...»

РОБЕСПЬЕР. Ты что, не слышишь меня? Оглох?!

КУТОН. Смертная казнь, Максимилиан!.. И они заслужили ее, эти маньяки!! И ты, наконец, остановишь это безумие...

РОБЕСПЬЕР. Чем? Чем, Кутон?.. Снова — казнями, смертью?.. Но это не означает — остановить, это означает — продолжить... Кроме того, если ты помнишь — смерть не дает друзей, она лишь плодит новых врагов... Кажется, Дантон сказал?.. Как ты поступишь с новыми врагами?..

Молчание.

КУТОН *(вдруг покатился поближе к Робеспьеру. Очень волнуясь, негромко)*. Послушай... Я уже давно ничего не понимаю... Мы ведь никогда не хотели убивать, правда?.. Когда все начиналось, в 89-м... Разве мы хотели убить короля?.. Только — чтоб он уступил. Хоть немного!.. Мы каждый день ходили в собрание — и говорили. *(Зло.)* Говорили, говорили, говорили!.. Если б он только выслушал нас!.. *(Не сразу.)* Даже когда стало ясно: он не будет слушать, он будет убивать — вместе со своими братьями и друзьями... с 20 тысячами бежавших в Кобленц, к австрийцам! С коалицией монархий, которую они там сколотили!.. Даже когда он бежал к ним, а мы его поймали и могли убить, уже имели право... нет! *(Не сразу.)* И только тогда, когда уже шла война, когда за его жизнь мы заплатили тысячами своих... Только тогда! В ответ!..

Молчание.

А разве мы не могли убить жирондистов — быстро, сразу после того, как уличили в измене?.. Ну, а позже, когда изгнали из Конвента? И все-таки сначала их нож зарезал Марата. *Их* тесак отсек голову Шалье. *Они* стали привешивать нас за шеи на крюки в мясных рядах — вперемежку с говяжьими тушами... В Лионе, Нанте... Ведь только тогда!.. В ответ!..

Молчание.

(Тихо.) Максимилиан... а может, так и должно быть в Революции? Мы же ничего не знаем, мы — первые!.. Не мы же сами — это враги вынудили нас создать этот смертельный железный кулак!.. *(Помолчав.)* А теперь... Чтоб этому кулаку продолжать существовать — он уже вынужден сам создавать врагов! Из воздуха! Из ничего!.. Чтобы оправдывать свою необходимость!.. И наш замысел — где он? *(Твердо.)* Значит, этот кулак нужно разбить. А для этого нужно создать... что? Новый кулак? А что потом — с новым?.. *(Растерянно.)* Это ведь — как воронка в реке, чем глубже, тем шире круги... и так до конца, до дна!.. Или... новая Революция, Максимилиан?.. Только уже — против революционеров?..

Пауза. Кутон напряженно ждет.

Почему ты молчишь?! Ты ведь знаешь, что выход есть... единственный выход! *(Схватил его и не отпускает.)* Слушай. Они ведь все равно называют тебя диктатором, давно — чтоб еще больше замарать тебя!.. *(Фанатично.)* Так стань им! Стань!! И ты спасешь Францию!.. *(Торопливо.)* Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, старое поколение пало, но это были развращенные люди... зато народились новые, чистые! Достойные земли обетованной!.. Цель, Максимилиан, высокая цель!.. И ради нее...

РОБЕСПЬЕР *(вырвался)*. Кутон!!

Пауза.

(Тускло.) Ты всегда упускаешь главное, Кутон. Иначе, возможно, ты нашел бы другой выход. Более экономный... *(Вдруг.)* Скажи, как ты думаешь... после всего, что было... казненный как участник «иностранного» заговора... обвинен-

ный во всех смертных грехах,— Дантон все равно займет место в Пантеоне? Ведь он его заслужил...

КУТОН. Не знаю, Максимилиан...

РОБЕСПЬЕР. Но если все-таки нет загробной жизни — то бессмертие... хотя бы в людской памяти?.. Нет?..

КУТОН *(глухо)*. Что главное, Максимилиан?.. Что-то главное, что я всегда упускаю?..

РОБЕСПЬЕР *(не сразу, измученно)*. Хорошо... Что главное для тебя, Кутон... для революционера?

КУТОН *(неуверенно)*. Ну... Честность... Воля... Вера...

РОБЕСПЬЕР. Кутон!.. Вы все это упускаете! Все, всегда!.. Хотя только и делаете, что говорите об этом... До боли в ушах, Кутон!

КУТОН. Свобода, Максимилиан? Равенство, Братство... это?..

РОБЕСПЬЕР *(взвыл)*. Они тоже уже превратились в пустую болтовню!.. Кутон, мы же взялись делать Революцию... вести ее — боже мой, даже вести! — ради кого?..

КУТОН *(недоуменно)*. Ради... ради народа?..

Молчание.

Значит, народ... Ну, а выход? Ты сказал, если б я не упускал главное — возможно, я бы нашел и выход...

Робеспьер молчит.

КУТОН *(терпеливо)*. Итак, народ, Максимилиан... Далее? *(Вдруг улыбка.)* Помнишь? Это слово ты повторял сто раз, тысячу раз, когда твой мозг работал над каким-нибудь вопросом... А я был рядом — и все подбрасывал тебе, подбрасывал...

РОБЕСПЬЕР *(с трудом принимая игру)*. Далее... Что видит народ, Кутон?..

КУТОН. Развал. Разложение... Бойню — бессмысленную, тупую!..

РОБЕСПЬЕР. Он сознает, что видит?

КУТОН. О, да!

РОБЕСПЬЕР. Он понимает, что пора это прекратить?

КУТОН. Уже никакие высокие слова, никакая болтовня не в состоянии оправдать...

РОБЕСПЬЕР *(перебил)*. Это уже далее, Кутон!.. Итак, что же он слышит? Народ?..

КУТОН. Я же сказал — слова. Слова, которые он уже ни в грош не ставит!

РОБЕСПЬЕР. Еще!

КУТОН. Еще?..

РОБЕСПЬЕР. Кутон, но ты ведь и это уже говорил!.. Имя, имя, Кутон! Чье имя сегодня самое грязное во Франции? Чьим именем, одним-единственным именем...

КУТОН. Но ведь это ложь, Максимилиан! Чудовищная ложь!.. Они специально мажут твое имя... Воры, они крадут его у тебя, чтобы потом свалить на него...

РОБЕСПЬЕР *(быстро)*. Что, Кутон?.. Что — свалить?

КУТОН. Что?.. *(Помолчав.)* Наверное... вину?..

РОБЕСПЬЕР *(вдруг радостно)*. Потому что они поняли: это — вина! Все это безумие — вина!.. Значит, я все-таки добился своего, Кутон!.. Покарав виновного, они уже не смогут продолжать, ты понимаешь?.. Они остановятся! И разожмут, разожмут этот кулак. И вернутся к Замыслу...

Молчание.

КУТОН *(потрясенно)*. И ты... согласен?..

РОБЕСПЬЕР *(усмешка)*. Неужели ты думаешь, я позволил бы так долго марать свое имя, если б сам не решил пожертвовать им?.. Так экономней, Кутон. Одна-единственная жизнь... то есть смерть...

КУТОН *(тихо)*. А если... если и этот твой расчет — неверен?..

РОБЕСПЬЕР *(глухо)*. Может быть... Может быть, Кутон! Но другого у меня нет. Всего один...

Молчание. И Кутон словно на что-то решился — будет говорить твердо, деловито.

КУТОН. Когда ты пойдешь в Конвент?

РОБЕСПЬЕР. Завтра.

КУТОН. И ты обвинишь их всех. Да? *(Не сразу.)* Со скамей, конечно, начнут кричать, требовать, чтоб ты назвал имена. Пожалуй, чего доброго и отдадут тебе кого-нибудь. Еще две-три бессмысленные казни! Если ты назовешь... *(Не сразу.)* Ты их не назовешь, правда? Ты обвинишь — всех!.. И тогда... *(Задумчиво.)* Они испугаются... Это придаст им смелости, отчаянной смелости... И, чтобы спастись, они обвинят — тебя! Что ты хочешь истребить весь Конвент! Что ты метишь в диктаторы!..

РОБЕСПЬЕР *(тихо)*. И наконец... решатся?..

КУТОН *(с трудом)*. Дантон, возможно, и останется в Пантеоне, Максимилиан, а ты... после такой грязи... Знаешь, они и эпитафию приготовили. *(Не сразу.)* «Не плачь, прохожий, над моей судьбой. Ты был бы мертв, когда б я был живой...»

РОБЕСПЬЕР *(хрипло)*. Но все-таки они остановятся...

Молчание.

КУТОН. Ты... окончательно решил, Максимилиан?

Робеспьер кивнул.

До завтра. Я буду вместе с тобой... *(Покатился к двери. Вдруг остановился.)* Обещай, что весь сегодняшний вечер будешь с Элеонорой. Она тебя любит. Обещаешь?.. *(Робеспьер кивнул.)* Теперь подойди ко мне... Нагнись... Обними... Нет, не как якобинец!.. Как друг...

Они обнялись.

Все. *(И, больше уже не взглянув на Робеспьера, Кутон выкатился из комнаты.)*

Пауза. И вдруг Робеспьер что-то вспомнил. Метнулся к двери.

РОБЕСПЬЕР *(кричит)*. Кутон! Ты ведь еще будешь в Комитете?.. Эти мальчики, помнишь? Жером и Пьер... Ну... руки, кисти... Вспомнил?.. Их, конечно, уже казнили, но... вдруг, а?.. *(С мольбой.)* Но — вдруг?!

Робеспьер один. Начинают бить часы — и одновременно доносится гул, сначала слабый, потом сильнее... Робеспьер встает, надевает парик, фрак, очки. Помешкав, набрасывает на себя длинный трехцветный шарф депутата Конвента... Гул еще сильнее. И Робеспьер твердым шагом покидает комнату. Некоторое время сцена пуста, а гул все нарастает, в нем уже явственно различимы отдельные крики:

— Диктатор!..
— Арестовать его!
— Казнить!
— Низвергнем тирана!
— Он хотел взойти на трон!..
— Да здравствует Республика!..

13

Утро. Лето. Солнце. Роза колотит в дверь. Открывает Гвардеец.

РОЗА. Мне сказали... я могу получить вещи... Диллон, Пьер. Его казнили...

ГВАРДЕЕЦ *(берет у нее корзину)*. Жди!.. *(Захлопывает дверь.)*

Роза ждет. Наконец дверь распахивается.

Бери!.. *(Отдает корзину и вновь захлопывает дверь.)*

Роза стоит с корзиной. Потом отходит, садится.

Сидит... Доносятся крики Газетчика:

— Газеты! Покупайте утренние газеты!..

ГАЗЕТЧИК (радостно размахивая газетой). Самые последние новости! Сокрушительный разгром вражеских войск! Коалиция рухнула!.. Мы выиграли войну!! Выиграли!

В тот же момент доносится барабанная дробь.

Вновь распахивается дверь.

ГЛАШАТАЙ. Слушайте!.. Именем Республики!.. Будучи объявлены вне закона, лишенные следствия и суда, к смертной казни посредством гильотинирования приговариваются... *(Дробь.)* Робеспьер Максимилиан Мари Изидор, тридцати шести лет, член Комитета общественного спасения, депутат Конвента... *(Дробь.)*

ГАЗЕТЧИК *(потрясенно молчит, потом вдруг — хрипло, упрямо, тряся газетой над головой)*. Все равно!.. Мы победили!.. Вечная слава героям!..

ГЛАШАТАЙ. Кутон Жорж Огюст, тридцати девяти лет...

В это время из-за двери с грохотом, переворачиваясь, вылетает кресло Кутона, следом — одна за другой — две пары очков Робеспьера и, наконец, его депутатский шарф.

ГАЗЕТЧИК (помешкав, подходит, поднимает шарф... И вдруг, взмахнув им, как флагом, упрямо, срывающимся голосом, кричит). Все равно! Вечная память павшим!.. *(И, хрипя, начинает петь.)* «Вперед, сыны Отчизны милой...» *(Запнулся, посмотрел на Розу.)* Гражданка, что ж ты? Пой вместе со мной!.. Мы победили! Все равно, надо петь, гражданка!.. *(И вновь поет, а точнее, хрипло выкрикивает «Марсельезу». Один.)*

Занавес.

Известный испанский поэт Хусто Хорхе Падрон родился в 1943 году в городе Лас-Пальмас на Канарских островах. Изучал право, философию и литературу на родине, а также в Париже и Стокгольме. Его стихи переводили в разных странах мира. Поэт ведет активную общественную деятельность, участвовал в VI международной встрече писателей в Софии, в международной встрече писателей-переводчиков в Москве (1987 год).
Предлагаем вниманию читателей стихи Х. Х. Падрона из книги «Круги ада».

Хусто Хорхе ПАДРОН

Усталость

Усталый, очень усталый,
уставший навек терять себя.
Уставший чувствовать себя изгоем,
властителем без царства, побежденным,
ограбленным, оболганным, забытым.
Измотанный, уставший быть
марионеткою поветрий,
подобной коронованному гному,
который изгаляется над всеми,
хихикает, подергивая нити,
и ножками сучит,
вываливаясь из всесильных рук.
И плачу, и смеюсь, и огрызаюсь,
влюбляюсь и валяю дурака.
Уставший, донельзя уставший
ступать по краю милой сердцу пропасти,
не оборачиваясь никогда
и тщась, как ртутная река,
в неутихающем ознобе
войти в свое единственное русло.
Уставший и душой, и телом
на улицах — в биополях
враждебности и клеветы,
уставший соблюдать спокойствие,
служить с пеленок собственной утробе,
повязывать вседневно галстук,
встречая в зеркале печальные глаза.
Уставший — так, что уж не чуешь ног,—
брести, влачиться, оступаясь, падая,
темнея придорожной грудой щебня,
и слыть беспомощным
на праздниках порока.
И — стенать.

Нашествие атомов

У черта на рогах, в загадочном краю
должно мое сознанье проживать.
Не ветер зов его разносит,
пропащие воспоминанья
его возносят в шепоте тревожном, ломком стоне
других людей, преображенных в трупы.
То — клеток бытия, то — мыслей крошево
в последнем взрыве света.
Миг, длящийся тысячелетья,
что пронеслись одним коротким мигом.
О нем и вспоминается с трудом.

Имелось грустное зерцало
Земли родной — самоубийцы,
что разметала внутренности наши,
внезапно впитывая буйство
клокочущего пламенами света,
гром с повсеместной молнией,
который, как пушинку, приподнял
дрожащее земное дно.
Его вибрация нас доконает:
гаснет кобальта мазок,
стираются цвета и перегной равнины,
строенья скомканы, как сальная бумага,
покошены цветы и тучи, художники ослеплены,
и рушатся грохочущие горы,
и распыляются, как споры,
почившие навеки дети.
Все, все подвластно гибельному взору:
и жизнь, и мир его эссенцией разъело.
И не вернуть живительной воды,
и воздухом не насладиться,
все, что ни есть,— без слуха, без души,
разбито вдребезги, оледенело,
оцепенело навсегда в порыве
прискорбной смерти.
Полнейшее крушение истории народов —
как дислокация чувств времени
во гневе, козыряющем проказой.

Мы — прах во тьме. Случайно испарения
соединили человеческую пыль
в частицы атома, что ныне расщеплен
и распадается в ошметках грязи.
И Слово никогда не станет вестью.

Вечная неподвижность

А за спиной — аллея шелестящая —
границей между птицами и солнцем,
живой любовью, дружбой крепкой.
Разъединили их скрипучая карета,
карета в золоте, триумф гордыни,
тщеславия горячий слиток,
день бесполезный и рутина серая —
итог того безмерного труда:
как жизнь и слово сочетать реально?
Все позади — потухшие желанья
и память никнут в заводях лагуны.

В глухом тумане пасмурное время.

Сейчас едва и ощущаю
в неярком постоянстве свет,
и возмущения приливы,
и неподвижности извечность.
И в голову приходит:
«Уже я стал каким-то ископаемым».

Та тяжелая ноша

Руки и ноги мои зашевелились лучами рассвета.
Шум мастерской воздушной,
треск атмосферных вздохов.
Пальцы мои превратились в щупальца света.
Ветру душа отзовется
звучными крыльями птицы,
что разучилась летать.
Каков я? Ползет под ногами
скользкою лентой,
как будто процессия, слякоть,
пеной морской обеляясь,
в иле и гальке скрываясь.
Перед глазами — горбатый клюв
и когтистые лапы. И клекот
гулок, как в подземелье.
С обрыва летит окрыленная ноша.
А бренное тело — как раскабалилось,
загадочно и безмятежно
меня осуждая на жизнь,
на горькое ожиданье — огня, топора и зари.

Перевела с испанского Д. БОБКОВА.

„Юность" — СПТУ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДОВЕРИЕ?

Помнится, когда только зашла речь о культурном шефстве журнала «Юность» над нашим СПТУ, я сказал, обращаясь к своим учащимся:

— Конечно, мы рады вниманию журналистов такого популярного издания, как «Юность». Но, признаться, пока не ведаю и сам: чем они могут нам с вами помочь и заинтересовать?..

Немало людей посещает училище, отдавая дань памяти его прославленного выпускника Юрия Гагарина. И это стало уже почти привычным, как бы само собой разумеющимся для всего нашего коллектива.

Запомнилось мне, однако, и то, как после моих тех слов сидящие в зале, дорогие мои мальчишки и девчонки, приняли слегка свободные позы, а их лица — капризные выражения. Услышав же в ответ о намерениях «Юности», как-то сразу подтянулись и стали серьезнее. Их легкое любопытство, замешенное на сомнении и настороженности, сменилось пробуждающимся доверием.

Так почему же практически сразу возникло в училище доверие к этому шефству?

Мы ведь так привыкли к показухе. Казалось, она уже неистребима в нас — во взрослых. Но ребята-то никогда ее не принимали. И только многообразие форм давления, подчас насилия над ними взрослых (в этом-то мы, к сожалению, весьма преуспели) принуждало их мириться с показухой. Если шефство, то непременно пространные провозглашения, громкие призывы и лозунги, бессчетные отчеты и подсчеты — числа привлеченных и приглашенных, охваченных и оставшихся пока «в резерве», количества проведенных и намеченных мероприятий и т. д. и т. д. Словом, шуму всегда бывало много, а вот проку...

А тут сразу же — подтверждение слова действием.

Первое общение — об истоках русского музыкального театра. Видели бы вы, как на глазах преображались — светлели и принимали одухотворенное выражение лица ребят, когда со сцены в зал полились русские народные мелодии, а затем и рожденные на их основе арии из первых русских опер! Как же тут было не вспомнить кабинетные суждения тех, кто назойливо твердит о том, что приобщение современной молодежи к искусству нужно вести непременно от доступного ей, желаемого, то есть модного? От рока... От авангардистской живописи... От западных кинобоевиков...

Я не теоретик искусства, поэтому позволю себе, может быть, наивный вопрос: как же в таком случае объяснить, что подростки, в большинстве своем никогда не посещавшие выставки изобразительного искусства, долго не желали расставаться с суриковцами, познакомившими ребят с творчеством великого русского живописца, имя которого носит их вуз?

В один из первых же дней шефства в пути за гитисовцами сломался «рафик». И нам не удалось доставить их в училище. А тем временем зал переполнился учащимися, ожидающими общения со студентами актерского факультета. Мне сообщили:

— Расходиться не хотят.

И без того раздосадованный накладкой с транспортом, я кинулся к ребятам и, не сдержавшись, обратился к ним с упреком:

— Вы чего же не расходитесь? Сидите здесь впустую больше часа...

И услышал ответ:

— Вы же сами говорили, что дело это добровольное. Вот мы и ждем добровольно...

Признаюсь, я был ошеломлен. Ничего подобного за всю мою многолетнюю педагогическую практику не случалось. Ребята ждали. Ждали еще целый час. Да и как же тут не ждать, когда к ним ежедневно приезжают их сверстники, готовящиеся стать артистами, музыкантами, художниками... И являются эти будущие звезды нашего искусства в СПТУ сами, без принуждения. Все с большим желанием и тяготением к юности рабочего класса. И в этом ведь тоже бесценность такого шефства — во взаимном их сближении — юности искусства и юности рабочего класса. Разве такой союз не мог бы стать одним из высоких идеалов нашей молодежи?

Шефство приобретает все более широкое общественное звучание. Мысли, высказанные чемпионом мира по шахматам Г. Каспаровым: «Разве не противоестественно разделять наше юношество на три части? Не пора ли пересмотреть организационные формы управления нашим средним образованием?» — оказались созвучными решениям февральского Пленума ЦК КПСС. А конкретное предложение чемпиона: «Необходимо единое государственное ведомство, компетентно и творчески занимающееся организацией всего среднего образования» — также было вскоре реализовано.

Перечитав начало своих заметок, я решился проиллюстрировать его не совсем обычным примером. В один прекрасный день, «вычислив» по публикациям в «Юности», что именно ГИТИС оказался самым испытанным и преданным духовному шефству, группа директоров московских СПТУ явилась в этот творческий вуз и начала вести там переговоры с руководством о создании своеобразной кооперативной школы эстетики для совместного посещения ее учащимися ряда училищ...

И в этой связи мне невольно вспомнились несколько телепередач о так называемом «пермском опыте» эстетического воспитания школьников. По существу, вся инициатива в нем заключается в том, что над музыкальным воспитанием учащихся там берут «шефство» приходящие преподаватели... за деньги, которые платят им мамы и папы.

Мне, конечно, могут возразить:

— Вам хорошо: студенты ведущих творческих вузов столицы ежедневно ведут у вас безвозмездную работу по духовному воспитанию учащихся. А как быть остальным — более чем 8 тысячам СПТУ?

Но в том-то как раз и заключается главная ценность происходящего сегодня в «Гагаринце», что нашей конечной целью является создание модели для всех 8 тысяч СПТУ. А учреждений культуры сколько? В десятки раз больше. И, имея уже некий образец, сформированную систему и программу духовного шефства, общественная инициатива могла бы распространить ее повсеместно. Что касается СПТУ, расположенных в отдалении от центров, не имеющих поблизости творческих учебных заведений, учреждений культуры,— разве нельзя организовать в них, скажем, демонстрацию видеофильмов об уроках Прекрасного в нашем училище?

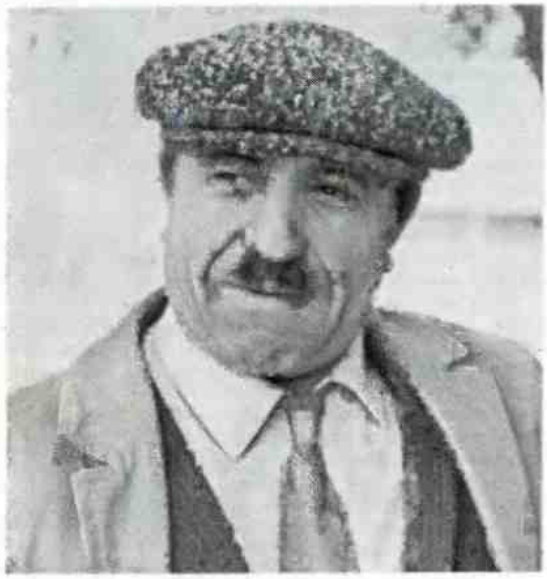
Мне кажется, что совместными усилиями мы сможем реализовать намеченное прошедшим Пленумом ЦК КПСС: «...мы должны смело, энергично наращивать и расширять культурный пласт перестройки, используя и развивая все духовное богатство, созданное нашими предшественниками, ...обогащать себя «знанием культуры, созданной всем развитием человечества».

С начала года учащиеся нашего СПТУ более целенаправленно приобщаются к духовным ценностям своего Отечества. На эти живые, яркие и непринужденные встречи с искусством тянутся и ребята из окрестных училищ, школ, пионеры. Уже не всех желающих участвовать в них способен уместить конференц-зал, хотя двери «Гагаринца» по-прежнему широко раскрыты — вход к нам свободный.

Вадим МЕНИС,
директор СПТУ «ГАГАРИНЕЦ»,
Московская область.

Станислав
РАССАДИН

ОН БЫЛ ЛЕГКИМ...



Один кавказский критик как-то обиделся на строки Бориса Пастернака:

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель...

«Постель» показалась уничижительно-фамильярной — для гор!

Для Пастернака смятая постель — образ зрительной точности, которую в особенности можно оценить с борта самолета. Нечто подобное я написал в своей давней книге о Кулиеве, эгоцентрически не догадавшись, что вышеуказанная обида точно так же естественна, как и право поэта другой земли на взгляд, лишь ему и присущий.

Мы ехали с Кайсыном Кулиевым по Дарьяльскому ущелью — вернее, это **он** ехал со мною в придачу, подобно российскому морозу-воеводе объезжая дозором и демонстрируя свои владения,— и я был поражен открывшейся картиной. Ее — как бы — несообразностью. Было начало июня, Терек тек смирной речушкой, и его ручной, ручьевой нрав никак не вязался с тем, что́ его окружало: с огромными бетонными кубами, которыми, по всему видать, его еще недавно пытались смирить и которые он, напоенный таяньем горных снегов, расшвырял, как детские кубики.

До страшной кавказской весны 1987 года, до бед Абхазии, до сванской трагедии было еще далеко, и картина разрушения, для кого-то и в те дни, без сомнения, досадная, нам — и уж, во всяком случае, мне — такой не казалась.

Я, конечно, поделился своим удивлением неофита, и Кулиев со злорадным удовольствием вспомнил снисходительные строчки Маяковского: «От этого Терека в поэтах истерика... Из омнибуса вразвалку сошел, поплевывал в Терек с берега, совал ему в пену палку...»

— Попробовал бы он сунуть в Терек палку, когда тот **настоящий...**

И — со вкусом, со сладострастной расстановкой, беря каждым «ха» реванш:

— Ха! Ха! Ха!

Как бы то ни было, горец не станет дразнить Терек, будто зоосадовского тигра, тростью и не сможет сравнить родные горы со смятыми складками простыни. Пожалуй, вообще не станет их сравнивать с чем-то. Зачем?

То, что привычно с младенчества, то, что стало частью твоего существования и существа, не нуждается в сопоставлении с посторонним — даже в поэзии.

Среди устных рассказов Владимира Яхонтова был, говорят, такой. Высоко-высоко в горах живут Бог и Бах. По утрам они выходят из своих жилищ и приветствуют друг друга:

— Здравствуй, Бог!

— Здравствуй, Бах!

Такая вот высотная простота общения. Простота высоты.

Кайсын Кулиев радостно восхитился, когда я пересказал ему эту микросказочку; сразу принял ее за свою, что и немудрено: горы казались ему, как дóлжно, символической границей дольнего мира и небес, последним, решающим рубежом: «Выше вас только солнце и Бог...»

Когда кулиевские стихи были выдвинуты на Ленинскую премию, один его недоброжелатель, в ту невозвратную для него пору влиятельный, высказался против. И наиболее убедительным аргументом ему показался такой:

— Эти стихи могли появиться и во времена Гомера!

По этой или по другой причине, но премии не дали, что стало очередной и далеко не самой тяжелой несправедливостью в судьбе Кулиева. Но хула — без малейшей вины со стороны хулителя — обернулась, как случается, похвалой. И немалой.

Да, для Кайсына Кулиева не существовало соблазна поспешать за злободневностью,— его поэзия слушала и слышала не то, что время требовало во всю силу своих легких, а то, в чем оно нуждалось, порою само того не сознавая. Например, в устойчивости. В мужестве терпеть и ждать. В нежности и сочувствии. В том, что вобрало в себя знаменитое кулиевское словосочетание «раненый камень», ибо испытания, которым подверг тела и души наш век, нанесли незаживающие раны даже камню. Даже его, камень, заставили страдать и кровоточить. Но, страдая и кровоточа, остается он все-таки — камнем. «Терпенье — вот, мой друг, оружие героя... Мила мне в сильных слабость, в слабых — сила... Идти в снегах по грудь, хватает сил покуда, идти и этот путь не выдавать за чудо...»

Воспоминание-ассоциация из другой сферы. Не так уж давно на телевидение, в популярнейшую ленинградскую передачу «Музыкальный ринг», почитающуюся толковищем наисовременнейшей рок- и поп-музыки, вдруг пригласили замечательный фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского. И, пригласив, поставили сперва в неуютное положение, столкнув хранителей русской народной песни с настороженностью и даже враждебностью «рокеров», ощетинившихся на чужаков и на чужое. Посыпались вопросы-обвинения, вопросы-подначки, и среди них:

— Для кого вы поете?

— Для себя.

— Где же тогда ваша гражданская позиция?..

(И «рокеры», стало быть, сполна овладели общедоступной демагогией.)

Умница Покровский ответил:

— Петь для себя — это сегодня и есть настоящая гражданская позиция.

Это — немудреная, но оттого не менее истинная формула искусства вообще,— конечно, не только сегодняшнего. Сегодня разве что можно безбоязненно ее обнародовать.

Кулиев всегда «пел» для себя. Поэтому для всех — для всех, кто того достоин.

Правда, его, наверное, покоробило бы — в применении к ремеслу стихотворца — словцо «пел», хотя бы и предусмотрительно закавыченное. Тем более, что для поэта Востока оно вдобавок оборачивалось бы попыткой нахлобучить папаху предка-ашуга и обрядиться в его бешмет, осенив себя модной ныне старомодностью,— а Кайсын Кулиев неспроста счел необходимым предупредить: «Я не пою, а пишу на бумаге, мерю пальто городского сукна», и всяческие экзотизмы вроде «тамады», «кунака» и «газырей», иногда мелькавшие в русских переводах его стихов, не должны и не могут нас обмануть: сверяясь с оригиналом, всякий раз убеждаешься — это от лукавого.

Имею в виду невинное лукавство переводчиков, случается, принаряжающих балкарца в одеяние, способное, по их расчету, прельстить иноязычного читателя, падкого на экзотику.

Если угодно, это тоже своего рода нравственная стойкость: быть поэтом народа, числом весьма невеликого, получить всесоюзную известность благодаря переводам — и **ни разу** (не преувеличиваю: ни разу) не потрафить публике, ждущей национальных эффектов. Ждущей, не будем ее чересчур винить, не случайно и не напрасно, ибо многие потрафляют, не понимая жалкости роли, которую охотно играют сами и которую — совершенно безвинно — принуждают играть свой народ. Ни единожды Кулиев не уступил соблазну, ни единой строки не сочинил, глядя через головы балкарцев, так сказать, навынос.

Впрочем, ловлю себя на слове. Что значит: не уступил соблазну? Боролся с ним, что ли, как библейский Иаков с Господом? Соблазна — не было, в том-то и дело. Слишком велико было чувство достоинства. Истинного, не торопящегося себя обнаружить.

Я люблю эти кулиевские стихи (перевод Наума Гребнева):

Речь горцев не цветиста, а сурова,
Их разговор бесхитростен и прост
Настолько, что боюсь я вставить слово,
Как конь боится выскочить на мост.

Здесь говорят, не повышая голос,
Неприхотлив крестьянский разговор,
Но слово совершенно, словно колос,
Бесхитростно, как каменный забор.

Тревожит рассуждающих не вечность,
Не старый спор: что истина, что прах?
И в речи их нет слова «человечность»,
А просто человечность в их словах.

Течет неприхотливая беседа,
И тем бывает речь омрачена,
Что ночью телка пала у соседа,
Что нет кормов и далека весна.

...Я не вступаю в споры-разговоры,
Мне все равно, кто прав и кто не прав,
Мне сладко просто слышать речь, в которой
И доброта хлебов, и мудрость трав.

Неотразимо вспоминаешь совсем другой взгляд, брошенный на окружающих поэта людей не в балкарском ауле, а в электричке, следующей из Переделкина до Москвы. Другой — но такой похожий!

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком...

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости, и неудобства
Они несли, как господа.

Вновь — Пастернак.

В одном случае, почтительно помалкивая, наблюдает уроженец аула Верхний Чегем, ранний сирота, бывший пастушок, в другом — потомственный интеллигент, учившийся в Марбурге, сын знаменитого художника и ученик великого композитора. И разница во взгляде, что говорить, заметна: «превозмогая обожанье... боготворя...» — этого горец никак бы не мог ни почувствовать, ни высказать; это сугубо российское, традиционно интеллигентное, даже интеллигентское, неотделимое от полуобъяснимого чувства вины в том, что ты — «такой», а они — «не такие», тебе — «дано», а им — «не дано»... Однако ведь и у Кулиева: «боюсь я вставить слово...» Боюсь! Трепетность. Некоторая даже стесненность.

Стесненность и трепетность — человека, который попросту отвык от односельчан? Нет, не то.

Это «боюсь» очень понятно в устах Кайсына Кулиева, который терпеть не может ухарской и натужной размашистости, с какой иные — да что там «иные», многие! — рядятся, в жизни ли или в стихах, в ухарей-пейзан, лупят деревенских земляков по горбу и при помощи свойского вида и ядреного присловья лишь обнажают свою сытость, самовитость и равнодушие. Не то чтобы он был настроен полемически по отношению к подобному; в поэзии такая полемика тоже очень легко может стать формой самоутверждения и самовозвышения. Нет, здесь — «всосанная с молоком» деликатность крестьянина и годами воспитанная в себе интеллигентность. Даже, повторю неуклюжее слово, интеллигентскость, понимая ее не только как высоту духа, но и как привычную, почти автоматическую манеру поведения. Не только способность рассуждать о Шопене и Тютчеве (беру имена, неслучайные для Кулиева), но и неспособность не уступить в трамвае место женщине.

Кайсын Кулиев был из тех, кто — уступал; не надо думать, что таких много, если, разумеется, воспринять бытовое и конкретное проявление воспитанности, названное мной наудачу, как признак чего-то куда более существенного. Сущностного...

Взявшись на сей раз не за статью о стихах Кулиева, а за что-то вроде рассказа о нем, я обнаружил: почему-то хочется вспоминать житейские мелочи; ну, может, не только мелочи, однако — житейские. Не в угоду собственному мемуарному настрою, нет. Хочется потому, что — **не страшно,** нет опасности уронить образ разговором даже о тех состояниях, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». Что тоже бывает не так уж часто.

Я узнал его в свои очень молодые годы, и он сразу, ничуть не думая об этом, начал ломать мои глупые юношеские стереотипы. Внешностью, костюмом — да, начиная с этого. Конечно, я и тогда не был уже настолько дураковат, чтобы вообразить поэта, чьи стихи начинал любить и чью судьбу уважал, неким горским витязем; похвастаюсь, что мне даже хватило сообразительности не разочароваться, а обрадоваться, увидав человека, начисто лишенного картинности (при его-то заметной наружности), в кепке и плащике, каких, как говорится, Москва не носит,— но первый стереотип был сломан.

Первый, однако не последний.

«Бритоголовым горцем» красиво назвал я его в статейке, рассчитанной на «за рубеж» (и вроде бы подразумевая витающую над ним тень, допустим, Хаджи-Мурата,— это уже была моя работа «навынос», потому что русскому читателю я такой авантажной чепухи все-таки не предложил бы), и мне это втайне нравилось, отчего я был ужасно огорчен, когда Кайсын вдруг отрастил вокруг лысины длинные волосы. Помнится даже, по-старинному выражаясь, возопил: «Зачем?», заподозрив и в нем уступку длинноволосью, аккурат тогда и входившему в моду, и он ответил неожиданно жалобно:

— Какая мода? Мне в вашей Москве холодно! Мерзну!

Сущий этот пустяк вспомнился потому, что у моей полуигры в «бритоголового мусульманина» оказалось горестное продолжение. Я навестил его в больнице, где он лечился от неизлечимого и, четко зная, чем и как болен, спокойно работал, писал стихи и, помню, перечитывал Ахматову, ее том лежал на столе. Больница была сильно «ведомственной», библиотека — соответственно богатой, а Кулиев, как он сказал, первым, кому понадобилась эта книга. Завидев его вновь бритоголовым, я по нелепому обычаю непрошеных утешителей воскликнул с бодростью, которая мне самому казалась ненаигранной: «Ну, вот, наконец-то образумился!..», но он повернулся ко мне затылком, и я увидал жутковатый операционный шрам.

— Понял, почему я побрился?

В нем не было ничего величавого (ну, ежели и проступало порою, то с не оскорбляющей глаз и душу наивностью), не было даже уверенности заслуженного человека, твердо знающего о своих заслугах,— хотя, разумеется, знал; он, как и все мы, мог беззащитно потеряться или прийти в бессильную ярость, столкнувшись с хамством «малого начальства», билетного кассира или ресторанного швейцара. А возможно, у него хватало благодушия не добиваться кары для малых сих, возомнивших себя великими мира сего.

Вот — к случаю — отрывок из его очень давнего письма:

«...Был в издательстве, читал рецензию. Я отнесся к ней точно так же, как и ты. Я глубоко огорчен, что тебе приходится страдать из-за меня. Кроме прочего, я ограничен в своих действиях потому, что эта книга обо мне. Это сильно ограничивает мои возможности. Неловко, но я уверен, что книга твоя выйдет. Для того, чтобы спасти ее, может быть, ты ее дополнишь?.. Прости меня, старика!»

С чего бы этакая покаянность?

Дело-то получилось простое и вполне обыкновенное. Я написал книгу о нем — для издательства в Нальчике. Как

всегда и у всех, начались опасения, почему в книге есть **это?** Почему нет **того?..** Среди «того», с улыбкой вспоминаю сейчас, было и обвинение: зачем я не изобразил Кайсына Кулиева как «певца социалистической Кабардино-Балкарии» и ее народнохозяйственных успехов,— стало ясно, что не все земляки читали своего знаменитого поэта... В общем, рукопись послали в Москву, на арбитраж, откуда пришла «закрытая» и потому не стесняющаяся в выборе и калибре обвинений рецензия Иосифа Гринберга, а уж ее, простодушно не учтя секретной «закрытости», переслали мне издатели.

«Спасать» книгу я отказался, и она так и не вышла (выйдет много позже, в Москве), но именно кулиевское неумение защитить ее, выхода которой ему очень хотелось,— книг о нем тогда не писали,— то бишь защитить и себя самого, с желанием и мнением кого не посчитались, тронуло меня до чрезвычайности. И послужило утешением.

Ведь он — при его влиятельности — мог надавить, нажать, нажаловаться. Мог... и не мог. Потому что «книга обо мне» — что тут прикажешь делать?

Я говорил друзьям:

— А ну-ка представьте, что я написал книгу об Н. Н. Да она бы пулей вылетела в белый свет, несмотря ни на какие там рецензии!.. Но вот поэтому Кайсын и замечательный. Поэтому он настоящий поэт, а не Н. Н.

Конечно, «поэтому» значило для меня куда больше частного и, в общем, маловажного случая.

Может быть, не все знают — да и откуда знать? — что ссылка, выпавшая на общую долю балкарцев, для Кулиева оказалась как бы «добровольной»,— кавычки вскоре станут понятны. Ему, лично ему, именно ему было выхлопотано право остаться на родине и не следовать в места отдаленные. Он не остался. Вернулся, раненный, в 1944 году из госпиталя, поднялся в горы, в родной Верхний Чегем, поплакал, как скупо рассказывал сам, над остывшим родительским очагом и отправился в Киргизию.

«И, как Байрон, хромая, проходил к очагу»,— романтизировал Кайсына его друг Дмитрий Кедрин. На этот раз, хромая, он пошел от очага. За своими.

Возносить ли ему за то хвалу? Можно, конечно. Но — вроде бы и стыдно. Он сам, весьма способный радостно похвастать строкой, об этом говорил, повторяю, скупо, мало, редко. Почти не говорил. Да и то — нелепо самому гордиться и нам неловко хвалить за то, чего человек не мог не сделать, предварительно не перестав быть самим собою. Не совершив то есть духовного самоубийства.

Мне кажется, лучше всех угадал его душевное существо все тот же Борис Леонидович Пастернак, занимавший в жизни Кайсына Кулиева совершенно особое место. Многих любивший, расточительно щедрый на изъявления дружества, он резко выделял из всех людей и поэтов двоих: Пастернака и Твардовского. Не просто любил, а, решусь сказать, обожал (не «превозмогая обожанье»). И очень гордился ответным признанием.

Пастернак писал ему в Киргизию, в ссылку,— это стоит особо отметить и оценить. Часть писем опубликована. Вот одно, лучшее, где с широтой и прозорливостью великой души оценены строки молодого ссыльнопоселенца, которому было еще идти и идти до своих лучших стихотворений,— я не могу позволить себе цитировать выборочно:

«25 ноября 1948 года.

Дорогой Кайсын!

Спасибо Вам за Ваше порывистое горячее письмо. Вы пользуетесь полною моею взаимностью. У меня есть мысли о Вас, которые я мог бы сейчас же сообщить Вам или записать для памяти, но у меня нет времени, и я их все равно не забуду. Или вот они в двух словах. Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми, в любом положении, даже в горе. Тот, кто очень рано или при рождении получает от нее несколько, все равно каких, нравственных, душевных или физических задатков, но выраженных до конца и не оставляющих сомнения, тот в завидном положении вот почему. На примере самого себя (а это ведь очень удобно: каждый всегда под рукой у себя), на примере самого себя, на примере именно этих выступающих определенных качеств рано убеждается он, как хорошо и в мире все законченное, недвусмысленное, исправное и образцовое, и на всю жизнь пристращается к самосовершенствованию и охватывается тягой к совершенству. Прирожденный талант, конечно, есть путь к будущей производительности и победе. Но не этим поразителен талант. Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное учебное пособие для постижения мира изнутри его с его лучшей и наиболее ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно. В Вас есть эта породистость струны или натянутой тетивы, **и это счастье».**

Письмо счастливого человека счастливому человеку. Даром, что первый в эту пору в загоне, второй — в ссылке.

«Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми...» Поразительное совпадение. В 1924 году, в книге «Zoo или письма не о любви» Виктор Шкловский сказал о самом Пастернаке: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

К несчастью, последняя фраза вышла плохой угадкой. Но, как оказалось, это, по сути, **ничего не переменило** — не в судьбе, а в душе поэта. В понимании им «общедраматического замысла существования».

«...Счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно». Это не только умение стать над судьбою; это умение, одолев судьбу, даже страшную, не получить надрыва, не заболеть озлоблением, остаться естественным...

Кайсын Кулиев и был естествен — во многом, почти во всем и всегда в главном. Он был... **легким,** если понимать это слово в российском, пушкинианском смысле: как способность, не выказывая напряжения, не обнаруживая томления и горечи, сохраняя достоинство и осанку, нести ношу, подчас невыносимую.

Он был естественным. Был легким, говорю я. И слышу в собственных словах печаль глагола: **был.**

В «Войне и мире» Толстой пишет, что Наташа не слушала умных слов своего мужа Пьера, ей это не было нужно, потому что она знала то, что рождает эти слова, знала всю его душу.

Как ни странно, но нечто похожее происходит у нас с любимейшими из поэтов. При жизни мы готовы прощать им молчание или, наоборот, периоды многословия; мы сами не всегда торопимся поймать каждую новую их строчку,— и это не снисходительность и не невнимательность. Мы знаем, мы ощущаем их «душу в заветной лире». Мы помним, что они — есть. Этого нам бывает достаточно.

Когда они — вдруг — умирают, мы кидаемся перечитывать читанное, разыскивать непрочитанное, словно надеемся вернуть невозвратное.

Сразу после их, поэтов, кончины просится на язык утешительное слово «бессмертие», хотя бы и ограниченное смертной, конечной памятью тех, кто живет и горюет. Мы словно бы убеждаем себя, что разлуки не произошло и не предвидится. Ощущение подлинной невосполнимости приходит потом.

Когда Кайсын Кулиев собирался из московской больницы на родину, в Балкарию,— **собирался умирать,**— он звонил друзьям, говорил им, что они значили в его судьбе, и прощался. Знаю, что позвонил Липкину, Гребневу... Звонил ли мне? Не знаю и не узна́ю. Я в ту пору надолго уехал из Москвы. Ревниво надеюсь, что — да, звонил. И в то же время вообразить страшно, что́ и ка́к я говорил бы ему, зная, что это в последний раз.

Как только он умер, сразу родилась легенда: будто он, улетая, попросил летчика сделать круг над Эльбрусом, и пилот не отказался, нарушив для него законы Аэрофлота, однако ничего не вышло. Эльбрус был закутан в облака и с высоты не виден. То есть легенда получилась печальной, не подарив, как оно положено сказке, последнего исполнения желаний,— но **там,** я верю, тебе должно быть светло и легко, золотой Кайсын, «старый кавказский черт», как ты надписал одну из подаренных книг, а по правде — не черт, хотя бы и кавказский, не ангел, а лучше и больше того: человек, который нес и вынес поболее того, что должен выносить человек. Тяжело нес и легко вынес, не доставив мучителям, недругам и соблазнителям радости увидеть тебя потерявшим осанку.

Остальное — «второстепенно».

РАЗГОВОР С ЦЕНТРФОРВАРДОМ ПОСЛЕ КАЛГАРИ

Не забуду, как весной прошлого года покидали лед венского «Штадтхалле» наши ребята после матча с «Тре Крунур», когда стало ясно, что золотые медали уплывают из рук. Я стоял у раздевалки и видел, с какими лицами они шли по черной прорезиненной дорожке... И вот на телеэкране в последних кадрах трансляции из Калгари возникли счастливые лица хоккеистов советской сборной — олимпийских чемпионов. И по контрасту — понурые плечи шведских игроков, потерпевших сокрушительное поражение.

Через несколько дней в шумном разноязычном гомоне Шереметьева я перекинулся несколькими фразами с Игорем Ларионовым, с которым давно дружен.

— Устал?

— Соскучился. Жену и дочку почти месяц не видел. Представляю, какой Лена сейчас ужин приготовила — я ведь в Калгари на диете сидел.

— Но избытком веса, мне кажется, ты никогда не страдал...

— Понимаешь, как ни парадоксально, но легкое чувство голода обостряет восприятие на льду. Вот я в дни игр и «перебивался» в основном витаминными салатами да бульонами.

— Игорь, могу тебе сейчас признаться, что, когда вы улетали на Олимпиаду, меня одолевали сомнения. Слишком уж неудачным для сборной оказался минувший год...

— Я понимаю. Но мы верили, что полоса невезения позади. А знаешь, когда я понял, что мы чемпионы? После первого периода матча со шведами, когда, уходя со льда, глянул в сторону соперников и увидел их потухшие глаза. Почувствовал — они сломались. А мы не могли дождаться конца перерыва, рвались в бой...

Он спешит домой, к семье. А через некоторое время мы встречаемся уже в более спокойной обстановке, на цээсковской базе в Архангельском и продолжаем послеолимпийский разговор.

— Как ты оцениваешь ситуацию в команде на Играх?

— У нас давно не было такого прекрасного морального климата. Ведь, что скрывать, раньше порой дело доходило до того, что и хоккей был не в радость. Просто выходил на лед и профессионально отрабатывал игру. Бывший второй тренер сборной Юрзинов, к примеру, иной раз так задергивал... Эти вечные придирки — не так улыбнулся, не то сказал, не туда сел... На прогулки обязательно всей командой, так сказать, строем. Как в детском саду, ей-богу! Так сжигались эмоции, столь необходимые на льду.

Несколько лет назад в Воскресенске, где Игорь проводил свой отпуск, я наблюдал, как он взялся сыграть за одну из команд на первенство района по футболу. Защитник действовал против него грубо, и Игорь, наконец, в очередной раз поднявшись с земли, направился в сторону раздевалки. На трибунах непонимающе затихли. Неужели заслуженный мастер спорта, достойно сражавшийся с канадскими профессионалами, спасовал перед футболистом заводской команды? А он, переодевшись, подсел ко мне на трибуну и, словно ни в чем не бывало, стал досматривать футбол.

— Понимаешь, не имею права рисковать,— сказал.— Скоро сезон начинается, а здесь, не ровен час, можно получить травму и подвести команду...

Так что, как видите, Игорь человек спокойный, сдержанный и говорить о ком-либо резко без достаточных оснований не будет.

Спрашиваю, изменилось ли что-нибудь в его интересах, пристрастиях?

— Когда возвращаюсь теперь из поездок, меня ждет целая кипа газет и журналов с интереснейшими публикациями, которые подбирает жена. И хочется, а точнее сказать, необходимо все успеть прочитать. Заново, как и каждый из нас, переосмысливаю историю страны. В последние дни ждал каждый номер «Московского комсомольца», где публиковались отрывки из «Ненаписанных романов» Юлиана Семенова.

— Разумеется, все воспоминания о Калгари у тебя связаны с вашей блестящей победой. А еще что-то отложилось...

— За несколько дней до открытия Игр мы приехали в город Саскатун на выставочную встречу с канадцами. Матч был приурочен к открытию ледового дворца. Великолепное здание из стекла и бетона с трибунами на 14 тысяч человек. А городок меньше Воскресенска. Вот так в Канаде обстоит дело с катками...

— А с Уэйном Гретцки встречался? Вы же приятели...

— В дни Кубка Канады я даже побывал у него в гостях, познакомился с его невестой — звездой Голливуда Джоннет Джонс. Уэйн показал мне хоккейную площадку, где начинался его путь в спорт. Однако на сей раз повидаться не удалось — слишком жесткий был распорядок дня. Кстати, в тот раз Уэйн сказал, что, если будет в Москве, обязательно приедет ко мне в гости...

— Ждешь?

— А застанет ли он меня дома? Мы же живем, в отличие от канадских хоккеистов, в основном на сборе...

— Ходят слухи, что ты можешь сыграть с Гретцки в одной команде?

— Раньше и предположить нельзя было подобное. Сейчас иное время. Многие понятия переоцениваются. Но давай представим себе ситуацию: того же Гретцки приглашает к себе, к примеру, московский «Спартак». Согласятся на это канадцы? Разумеется, нет! Он любимец публики, на него ходят. И если сейчас, в расцвете сил, скажем, Владимир Крутов отправится играть в НХЛ, наши болельщики обидятся, и притом совершенно справедливо. Другое дело если спортсмен уже на закате своей карьеры. Тогда, думаю, подобный контракт может состояться. А что? Это будет прекрасная пропаганда нашего хоккея, да и деньги, а это момент немаловажный, от этого контракта пойдут на развитие нашего спорта.

Петр СПЕКТОР

Фото Сергея Жабина

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ, СПРАШИВАЙТЕ...

Вот каким представлялся ему этот несбыточный день:

Когда я вернусь — ты не смейся,— когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,
По еле заметному следу к теплу и ночлегу,
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вернусь...

Послушай, послушай — не смейся,— когда я вернусь,
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,
И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вернусь...

Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит меня и заплещется в сердце моем...
Когда я вернусь... О, когда я вернусь...

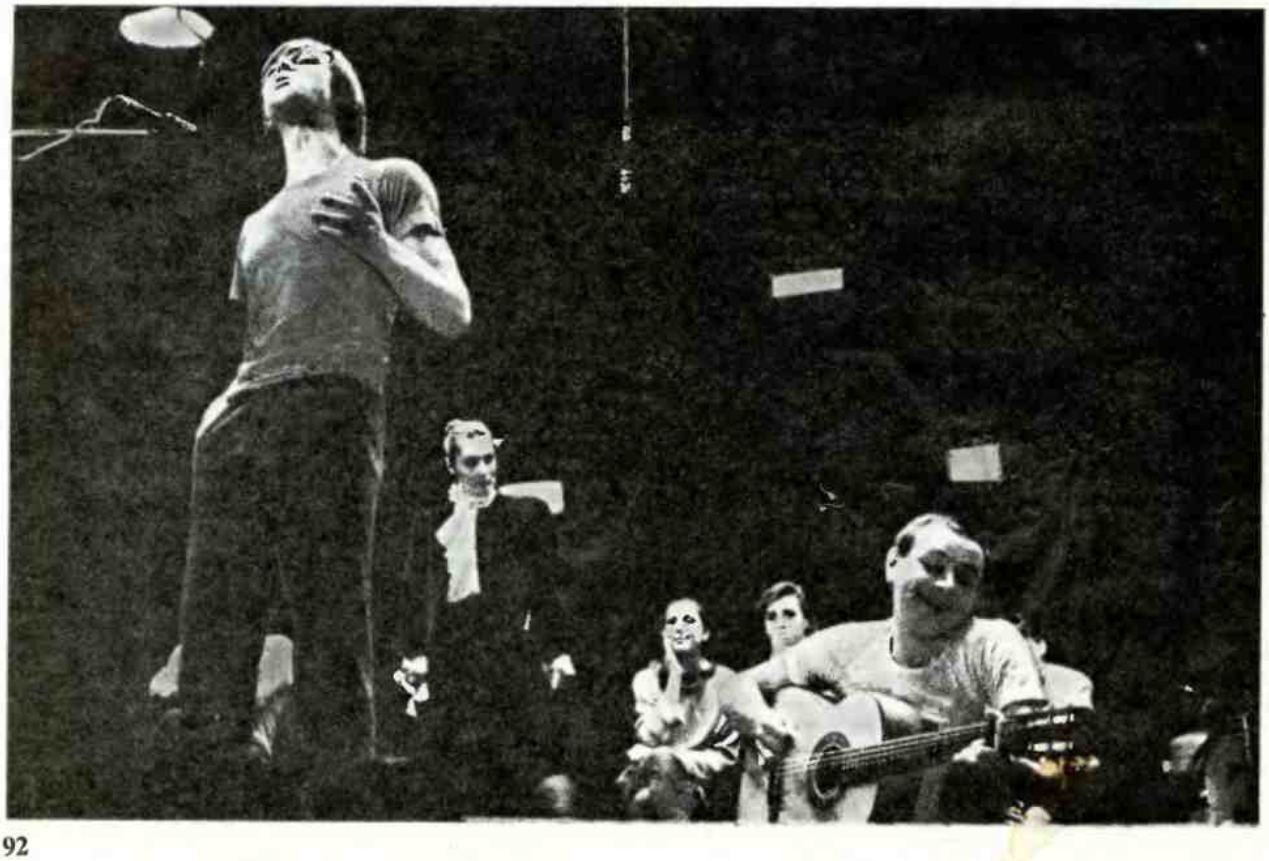
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь... А когда я вернусь?..

Этой песней — одной из последних, написанных Александром Галичем,— Московский театр-студия песни «Третье направление» и завершает спектакль, который так и назван: «Когда я вернусь».

Он вернулся к нам в прошедшем феврале, не дожив десяти лет до своего возвращения — до возвращения своих песен. Горько, конечно, что лишь сегодня мы нашли в себе силы преодолеть тот страх, бросить вызов которому он так яростно звал нас:

Если правда у нас на знамени,
Если смертной гордимся гордостью,
Так чего ж мы в испуге замерли
Перед ложью и перед подлостью?

В середине шестидесятых годов, когда в нашем Отчем Доме (его слова) ложь и подлость вновь обрели простор, Галич восклицал с болью, что ором орет, а лишь на пять шагов слышен. Но сколь огромны — и в пространстве и во времени! — оказались эти пять шагов. Инженер Артур Зарецкий из поселка имени Воровского Московской области пишет нам в редакцию: «Так что же мы, гордящиеся своей непереводимой на другие языки гласностью, никак не вспомним, открыто и достойно, об этом человеке, одном из того



На снимке: сцена из спектакля.

Фото Р. Спектора.

небольшого, но великого ряда совестливых личностей, талантов, защитивших, сохранивших для нас и в нас правду в те недоброй памяти годы, заплативших за нее трагическую цену».

Инженер Зарецкий указывает, что ему 26 лет. А средний возраст артистов Театра-студии песни не достигает и этой цифры. Галичу же в этом году исполнилось бы семьдесят. Идеальный по сегодняшним меркам пример преемственности поколений — преемственности свободолюбия.

Как придуман этот спектакль? Артисты поочередно воплощаются в героев остросюжетных песен Галича, образуют хор. А то выходит Поэт, которому противостоит Некто, осознающий себя «хозяином жизни».

— Как живете, караси?

— Хорошо живем, мерси.

Это — из первой половины спектакля, где Некто весьма походит на лагерного надзирателя. А отвечают ему, как и было положено, дружно, хором.

Помню, как в свое время, когда Галич «сострадал» осиротевшим сталинским холуям («Пожалейте, люди, палачей...»), казалось, что песенка их спета. А они молодели, крепли, и несть им числа сегодня, и скольких еще предстоит спровадить на пенсию... Как и почему так случилось?

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!

Да, былые мальчики (как много их было в тот вечер в зале!) не доспросили своих отцов, но вышедшие на сцену убеждали, что они-то уж от вопросов не отступятся.

Кто-то продолжает всхлипывать о былом «порядке»... И выходит Поэт — ему однажды представилось, как ночью на улицах его города объявляется и обозревает свои былые владения — былые ли? — памятник нашему холуйству:

То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки...
Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию.
Вижу, бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию...

Шутовскую ли? Нам зачитывается прискорбный документ уже иного, казалось бы, времени — уведомление правления Литфонда, помещенное в «Вечерней Москве» 2 июня 1960-го, о смерти Б. Л. Пастернака, «последовавшей 30 мая сего года на 71 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни...».

Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!

Высший нравственный счет, который только сегодня становится нормой,— в этой песне о судьбе Бориса Леонидовича Пастернака:

И не к терновому венцу — колесованием,
А как поленом по лицу — голосованием...

Во времена, которые мы сейчас деликатно именуем застойными, в одном из московских театров вдруг отпели Чацкого и возвеличили Молчалина. И рецензент нашелся, который принялся растолковывать нам, что крикуны свое откричали, а положиться можно лишь на благоразумного Молчалина... И Поэт сочинил свой «Старательский вальсок».

В спектакле этот вальсок исполняют обитатели «Белых столбов», где «шизофреники вяжут веники, параноики рисуют нолики, а которые просто нервные, те спокойным сном спят, наверное...». В этом доме заправляет делами знакомый нам Некто. Мы уже не спим сегодня спокойным сном, но звучит еще — прислушайтесь,— как звучит здесь и там этот вальсок:

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань.
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль!
Не в пустыни, не к полюсу холода,
Не на катере — к этакой матери!..
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели!
Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!..

И не веря — ни сердцу, ни разуму —
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не «против», конечно, а «за»!
Где теперь крикуны и печальники?!
Отшумели и сгинули смолода!
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото!
Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!..

А потом, когда стали вы первыми,
Вас заела речей маета!
Но под всеми словесными перлами
Проступала — пятном — немота!
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода,
Вы-то знали — доходней молчание.
Потому что молчание — золото!
Вот, как просто попасть в богачи!
Вот, как просто попасть в первачи!
Вот, как просто попасть в палачи —
Промолчи, промолчи, промолчи!..

Спектакль «Когда я вернусь» — как и спектакль по песням Юлия Кима «Не покидай меня, весна», с которого начался этот театр,— взывает к гражданским чувствам зрителя. И каждая его сцена, каждая песня в лицах мгновенно находит отклик в зале.

«И вот теперь я полный псих! А кто не псих?» — восклицает герой «Баллады о прибавочной стоимости». Он «научность марксистскую пестовал», как вдруг получил от тети Калерии, умершей в стране Фингалии, в наследство землю и фабрику... И когда на радостях пропил он за усопшую тетеньку последнюю сотенку и пропил все, что у друзей наодалживал («Наодалживал, в общем, до тыщи я... Я ж отдам, слава богу, не нищий я!»), услышал по радио, что в Фингалии произошла революция и народная власть национализировала земли и фабрики... И что же наш правоверный наследник?

То есть как это так — все народное?!
Это ж наше, кричу, с тетей Калею!
Я ж за этим собрался в Фингалию!
Я теорию знаю, не спорю я...
Но ведь это уже не теория!..

А вот и другой узнаваемый персонаж. Этот, видите ли, по оставленной жене тоскует, но спит «с доскою» Тонькою, потому что у Тоньки — папаша, при котором «топтуны да холуи — все по струночке...».

Ах, я живу теперь в дому — чаша полная!
Даже брюки у меня и те на «молнии»!
И вино у нас в дому, как из кладезя!
А сортир у нас в дому — восемь на десять!

(Надо сказать, что, когда писалась эта песня, брюки на «молнии» были импортной новинкой — песни Галича воссоздают время во всех его бытовых подробностях.)

Театр песни живет по студийным законам — ведущий артист выполняет обязанности и рабочего сцены. Я хочу назвать поименно всех участников и создателей этого волнующего спектакля: Надежда Бондарь, Александр Венгер, Алексей Воскресенский, Ольга Гапеева, Николай Гриднев, Елена Десяткова, Рамил Ибрагимов, Олег Кудряшов (главный режиссер театра, постановщик спектакля), Татьяна Куинджи, Ирина Лычагина, Александр Переверзев, Виктор Семенов, Аркадий Серпер, Александр Хмельницкий, Михаил Чумаченко.

Александр Галич, который в семидесятые годы дорогой ценой заплатил за то, что не хотел промолчать (его вынудили покинуть страну, и он умер спустя три года в Париже...), продолжал верить, что песни его еще помогут вызволить Отчий Дом «из огня...»:

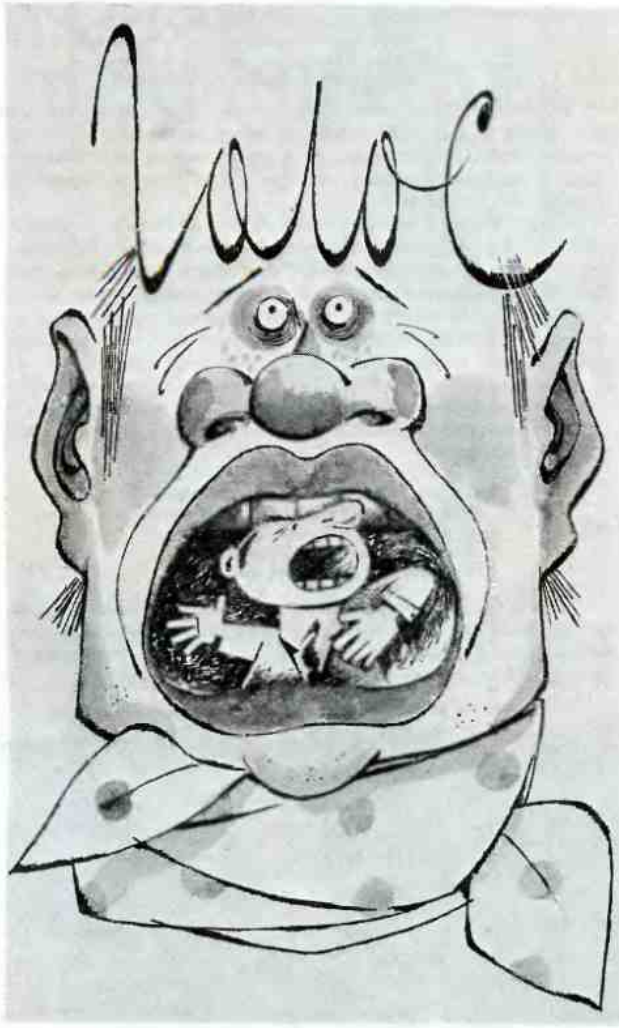
Как же странно мне было, мой Отчий Дом,
Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом...

И добавил: «А впрочем, солгать — солги,
Может, вымолишь тишь да гладь».
Но уж если я должен платить долги,
То зачем же при этом лгать?

И в финале спектакля этот Некто с пустым лицом, которому Поэт — перед посадкой на самолет — сдает свой паспорт, позволяет себе усомниться в возвращении Поэта. Но сегодня от меня, от тебя, от нас только зависит: кому предстоит вернуться, а кому — уйти со сцены...

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ.

Леонид ФУЛЬШТИНСКИЙ



Фельетон

Свой необычный дар Коля Рябинин обнаружил совершенно случайно. Пионервожатая попросила, чтобы он сделал сообщение насчет макулатуры. Коля вышел к доске, стал лицом к классу и выразительно, с оттяжечкой, произнес:

— Товарищи! Все как один выйдем завтра на сбор макулатуры!

Казалось бы, ничего такого Коля и не сказал, но от этих слов у всех мороз по коже прошел. Каждый понял, что если не откликнется на воззвание, не сдаст на приемный пункт положенный макулатурный оброк, то случится что-то такое, что-то такое...

Рисунок И. Оффенгендена

И класс натащил столько макулатуры, что перекрыл этим показателем все другие, включая успеваемость, поведение и участие в школьном хоре, вместе взятые. Стали класс повсюду нахваливать, в пример на педсоветах ставить, классного руководителя на красную доску занесли.

— Это все Коля наш,— поделился славой классный руководитель.— Умеет зажечь людей.

Вызвал Колю директор.

— Ну-ка, покажи, чем народ берешь.

Набрал Коля в легкие побольше воздуха, да как выдаст:

— Один за всех, все за одного! Тише едешь, дальше будешь! На чужой каравай рот не разевай!

— Молодец! — похвалил директор.— Назначаю тебя глашатаем и звонарем.

— Как это? — испугался Коля.

— Будешь будоражить людей, звать их на большие дела. Завтра на общешкольном родительском собрании скажешь о добровольных взносах на ремонт школы.

И Коля сказал. Всего лишь несколько слов. Однако так сказал, что все родители вздрогнули и тут же полезли в карманы за бумажниками.

Феномен Колиного голоса не поддавался научному объяснению. Стоило ему лишь поднатужиться, грозно насупить брови и бросить в массу: «Това-ри-щи!» — все живое становилось по стойке «смирно».

Декан факультета, куда после школы поступал Коля, узнав из характеристики о редкостном голосе абитуриента, пришел после прослушивания в неописуемый восторг и сказал, довольно потирая руки:

— Такие люди нам нужны. Будешь призывником.

— В армию сплавить хотите?

— Нет. Будешь студентов призывать.

— К чему?

— К чему скажем.

И Коля был принят вне конкурса по одному списку с сыном проректора, дочкой председателя исполкома и спортсменом-разрядником.

Учебой Коля себя не утруждал, зато усиленно развивал голосовые связки, разучивая призывы, в смысл которых не вникал, знал лишь, что в них должно быть побольше повелительного наклонения. Из уст его, как из рога изобилия, сыпалось: «Студент! Повышай успеваемость!», «Юноши и девушки! Вперед к вершинам знаний!».

Коллектив, куда влился Коля после окончания вуза, был небольшой, но инертный. Об этом сообщил кадровик, узнавший из документов, какого уникального молодого специалиста приобретает.

— Толкачом будешь,— похлопал он по плечу Колю.

— В отдел снабжения направляете? — поскучнел Коля.

— Да нет. Лозунги будешь толкать. Взбалтывать и взбадривать нашу шарашкину контору.

И пошло: «Встанем на трудовую вахту!», «Усилим, повысим, добьемся!», «Вдвое, втрое, в двадцать семь с половиной!».

Казалось, Колина карьера обеспечена. Он быстро вошел во вкус, быстро попал «в струю» и быстро зашагал вверх. Открывал собрания, закрывал симпозиумы, призывал, оглашал, нацеливал. Голосовых связок не жалел. Текст ему давали заранее, остальное было делом техники.

Но как-то в осенний день, после многолюдного митинга, Коля перенапрягся и подорвал связки. Голос сел, потерял свои краски и теперь ничем не отличался от голоса обычного, рядового человека. Ему засчитали это как производственную травму и на неделю оформили больничный. Но через неделю осипший голос не восстановился. Больничный продлили, но и это не помогло.

Двинул Коля к начальнику и тихо так, неуверенно спрашивает: что делать?

— А ничего,— отвечает начальник.— Будешь работать по специальности.

— По какой такой специальности,— шарахнулся Коля.— Я ведь ничего другого, кроме этого а-ла-ла, не умею.

— Как знаешь,— развел руками начальник.— Ничем тебе помочь не могу.

И остался Коля безработным. Испортил нам всю статистику. Ходит теперь по инстанциям, жалуется. Но никто не берется ему помочь. Куда ни придет, всюду ему говорят: «Сейчас, брат, люди твоей профессии спросом нигде не пользуются. Сейчас весь кадровый подход в два слова умещается: «Работать надо!»

г. Львов

Юрий РЯШЕНЦЕВ

УЖ ВОСХИЩЕНЬЯ НЕТ...

Нижеприведенные песни мы публикуем без нот, поскольку их мелодии хорошо известны. Они звучали с телеэкранов, экранов кинотеатров и сцен разных театров, за исключением оперных, потому что исполнение этих песен не требует выдающихся вокальных способностей. Больше того — их можно петь без всяких вокальных способностей. И даже просто читать.

Романс Эраста

(из спектакля «Бедная Лиза»)

Уж восхищенья нет:
ведь тайны нет уже.
А там, где тайны нет,
там кровь течет спокойно...
Да, эта женщина
любви вполне достойна —
но... восхищенья нет
в признательной душе.

Уж восхищенья нет.
И что там, впереди?
Мне даль предвидится
мучительно и ясно:
да, видеть женщину,
общаться ежечасно,
коль восхищенья нет —
Господь, не приведи...

Уж восхищенья нет,
как в чувство ни играй.
И что виной тому —
не знаю, без притворства:
ее ль уступчивость,
мое ли то упорство?
Но восхищенья нет.
Как близок аду рай!..

Песенка об обстоятельствах

(из спектакля «Бедная Лиза»)

Неверно слово у мужчин,
Но сколько есть тому причин:
Мужчина издавна игрок,
коль не калека,
И пусть горяч он, пусть игрив —
Ему сужден благой порыв,
Но обстоятельства сильнее человека.
Все карты розданы и,
как тут ни крути,
От обстоятельств, коль не шулер,
не уйти.

Еще вчера на склоне дня
Все в милой — тайна для меня.
Еще вчера ее черты
мне сладко снились,
Но тайны нет, и мне — пора,
Ведь я желаю ей добра,
А обстоятельства с утра
переменились.
Я и сейчас ее приверженец красоте,
Но обстоятельства совсем уже
не те.

Над всем, что есть, довлеет рок.
Ты бескорыстью дал зарок —
Тогда монеты в кошельке
еще водились.
Ты говорил другим в укор,
Что чувства — всё, а деньги — сор,
Да обстоятельства с тех пор
переменились.
Как честь и совесть
с малых лет ни береги,
Но обстоятельства и принципы —
враги.

«Любите ближних!» — рек Господь.
И с ним согласны дух и плоть,
(И даже более души согласно тело!).
Любовь от ближних не тая,
Мы любим их, Господь и я,
Но обстоятельствам до ближних
что за дело?
Уста вдруг сходятся —
расходятся пути,
Нам остается лишь
руками развести.

Песенка островитян

(из телефильма «Остров погибших кораблей»)

Из разных благ не делаем мы идола.
У нас и бедняк не бедняга.
Отсутствие чего бы то ни было
есть самое высшее благо.
В отсутствие одежды,
в отсутствие еды
еще светлей надежды,
еще ясней мечты.
И каждый, кто сознателен,
за нищету признателен,
и мы такой режим
менять не разрешим.
Кто голоден, кто бос
на нашем острове,
и где нет дыры — там заплатка.
Казалось бы, нищи. Но просто мы
свободны от гнета достатка.
В отсутствие одежды,
в отсутствие еды
еще светлей надежды,
еще ясней мечты.
И каждый, кто сознателен,
за нищету признателен,
и мы такой режим
менять не разрешим.

Песенка о российских дорогах

(из телефильма «Гардемарины, вперед!»)

Конь да путник, али вам не туго?
Как бы впрямь в пути не околеть...
Бездорожье одолеть — не штука.
А вот как дорогу одолеть?
И у черта, и у Бога
на одном, видать, счету
ты, российская дорога —
семь загибов на версту.

Нет ухаба — значит, будет яма.
Рытвина правей, левей кювет...
Ох, дорога, ты скажи нам прямо —
по тебе ли ездят на тот свет?
И у черта, и у Бога
на одном, видать, счету
ты, российская дорога —
семь загибов на версту.
Но согласны и сапог, и лапоть:
как нам наши версты не любить —
ведь браниться здесь умней,
чем плакать, а спасаться легче,
чем ловить.
И у черта, и у Бога
на одном, видать, счету
ты, российская дорога —
семь загибов на версту.

Кредо барона Пруса

(из кинофильма «Рецепт ее молодости»)

Нет! Хищник не ругательное слово.
Есть в хищниках высокая корысть.
Есть в хищниках здоровая основа:
желанье и обязанность — загрызть!
В наш славный век
лишь ярче их натура:
когтям так близко всё,
что видит глаз.
Пусть даже против хищников
культура —
зато цивилизация за нас!
Мы, хищники, большие демократы.
Нам думать о различиях смешно.
Мы нищему равно, как принцу, рады:
здоровому желудку — все равно!
В наш славный век сильнее та фигура,
чья правда — острый зуб
и острый глаз.
Пусть даже против хищников
культура —
зато цивилизация за нас!

Куплеты бюрократа

(из кинофильма «Забытая мелодия для флейты»)

Наливался тучами закат.
Перестройку начали с рассветом.
Не по делу снятый бюрократ
со своим прощался кабинетом.
«Ты прощай, мой светлый кабинет,
ты прости, ковровая дорожка.
Дай в карельском кресле напослед
посижу хотя б еще немножко.
Пусть в последний раз
в мой строгий взгляд
ясный свет прольется из плафонов.
Пусть по мне прощально прозвенят
все мои двенадцать телефонов.
Разве ж я хоть что-то разрешил?
Разве ж я вошел куда без стуку?
Так за что же камень положил
рок в мою протянутую руку?
Что ж вы друга бросили, друзья?
Как зачнет судьба его мытарить!
Ведь простой душе его нельзя
с миром без селектора гутарить!..»
Так сказал и вышел по ковру,
уходил все дальше он и дальше,
и слеза катилась по бедру,
по бедру крутому секретарши.
Граждане! Душа моя чиста!
Жду от вас посильного привета.
Кто и есть на свете сирота —
это гражданин без кабинета!
Лозунг на момент текущий свой
в вас внедрить имею намерéнье:
помогите медью трудовой —
перед вами жертва ускоренья!

Умер Леопольд Абрамович Железнов. Весть эта опечалит каждого, кто сколько-нибудь знает судьбу нашего журнала и неравнодушен к ней. Ему были присущи особые, нечасто встречающиеся душевные качества, которые способны сплачивать совершенно различных по характеру, житейскому опыту, привязанностям и пристрастиям людей в единый коллектив. Для этого надо глубоко уважать и понимать тех, кто занят с тобой общим делом, и высоко, на уровень определяющих жизненных принципов, ставить интересы этого дела. Л. А. Железнов плоть от плоти того уже сильно поредевшего поколения, которое, не зная колебаний, с безоглядной молодой отвагой встало под знамена революции и совершило со страною путь, освещенный великим трудом, дерзновенными свершениями, дорогими победами, путь, горестно отмеченный несправедливостью, произволом, трагедиями. Тринадцатилетним, Л. А. Железнов одним из первых в только что освобожденной от Колчака Уфе вступает в комсомол, с энтузиазмом участвует в создании и обережении первых ростков советской жизни, становится бойцом ЧОН — частей особого назначения. И, может быть, именно с тех пор навсегда закрепляет в своем характере собранность, спокойную готовность принять на себя ответственность, трезвую, беспощадную ясность самооценок и то глубоко осознанное, враждебное слепой бездумности отношение к дисциплине, которое точнее всего было бы назвать чувством строя. Его посылают на учебу в Ленинград, где он заявляет о себе как яркий журналист, его публикации все чаще появляются в «Правде». Вскоре он становится корреспондентом этой газеты, возглавляет ленинградский корпункт, неоднократно встречается с С. М. Кировым. В начале 1934 года по инициативе Марии Ильиничны Ульяновой Л. А. Железнова переводят в Москву, в центральный аппарат «Правды»; он работает в отделе информации, через некоторое время назначается заведующим отделом, потом — заместителем ответственного секретаря редакции. В первый же день Великой Отечественной войны уходит на фронт, на южное его крыло. Он пройдет по многим военным дорогам, уже будучи редактором «Фронтовой иллюстрации» — контрпропагандистского издания, выходившего на русском и немецком языках,— бесстрашно и надежно исполняя долг не только участника, но и летописца многих, в том числе решающих сражений войны. Он привлек к сотрудничеству видных мастеров советской литературы: М. А. Шолохова, И. Г. Эренбурга, В. С. Гроссмана, В. П. Катаева, А. А. Фадеева, А. А. Бека, М. С. Шагинян, А. Н. Толстого, К. М. Симонова. И это прежде всего обеспечило действенность газеты, принесло ей политический успех. Л. А. Железнов был одним из тех, кто готовил самые первые номера «Юности», вырабатывал доверительный характер ее взаимоотношений с читателем, определял ее эстетический облик, наконец, он, являясь многие годы ответственным секретарем журнала, был одним из тех, кто укоренял стиль редакционной жизни, где профессиональная строгость, серьезность и глубина неотрывны от доброжелательности, а демократизм и интеллигентность лежат в основе взаимоотношений. Коммунист с полувековым стажем, запомнится он нам — светлым, исполненным веры в светлое.

В НОМЕРЕ:

Проза

Аркадий СТРУГАЦКИЙ, Борис СТРУГАЦКИЙ. Отягощенные Злом, или Сорок лет спустя. *Фантастический роман* **(8)**

Александр БУРАВСКИЙ. Второй год свободы. *Трагическая фантазия на темы Великой французской революции* **(66)**

Наследие

Андрей ПЛАТОНОВ. Рассказы (57). *Предисловие Федота Сучкова* **(56)**

Поэзия

Евгений ЕВТУШЕНКО (43), Андрей АМЛИНСКИЙ (60), Норайр БАГДАСАРЯН (61), Олеся НИКОЛАЕВА (61), Мамед ИСМАИЛ (63)

Поэты мира

Хусто Хорхе ПАДРОН (86)

Публицистика

Наука демократии. *Беседа с авторами книги «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О демократии» Г. А. Багатурия, С. Е. Гречихо и В. Н. Кузнецовым* **(2)**

Григорий СЫРНИКОВ. Ячейка (6)

20-я комната. *Заседание семнадцатое* **(46)**

Виктор КОРКИЯ. Свободное время. *Поэма* **(53)**

***Юность* — *СПТУ*. Вадим МЕНИС. С чего начинается доверие (87)**

Критика

Станислав РАССАДИН. Он был легким... (88)

Культура и искусство

Елена КУРЛЯНДЦЕВА. Парад потерь. *Позиция Ивана Лубенникова* **(64)**

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте... (92)

Спорт

Петр СПЕКТОР. Разговор с центрфорвардом после Калгари (91)

Зеленый портфель

Леонид ФУЛЬШТИНСКИЙ. Голос. *Фельетон* **(94)**

Юрий РЯШЕНЦЕВ. Уж восхищенья нет... (95)

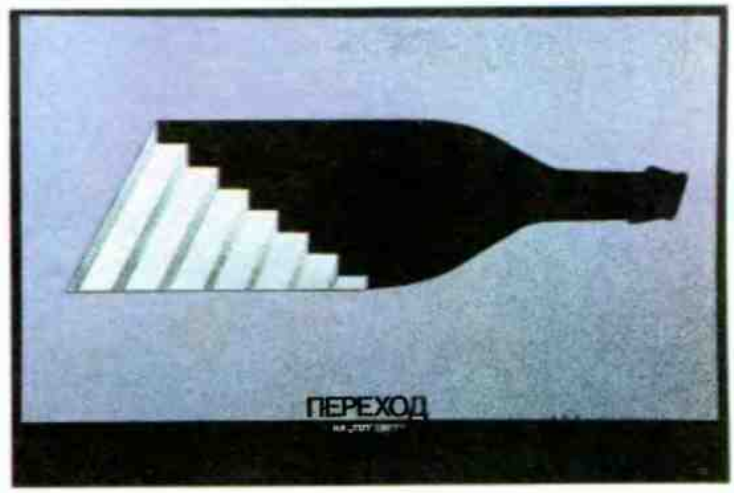
Оформление обложки Г. Мурышкина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенок

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1
Телефон для справок — 251-31-22

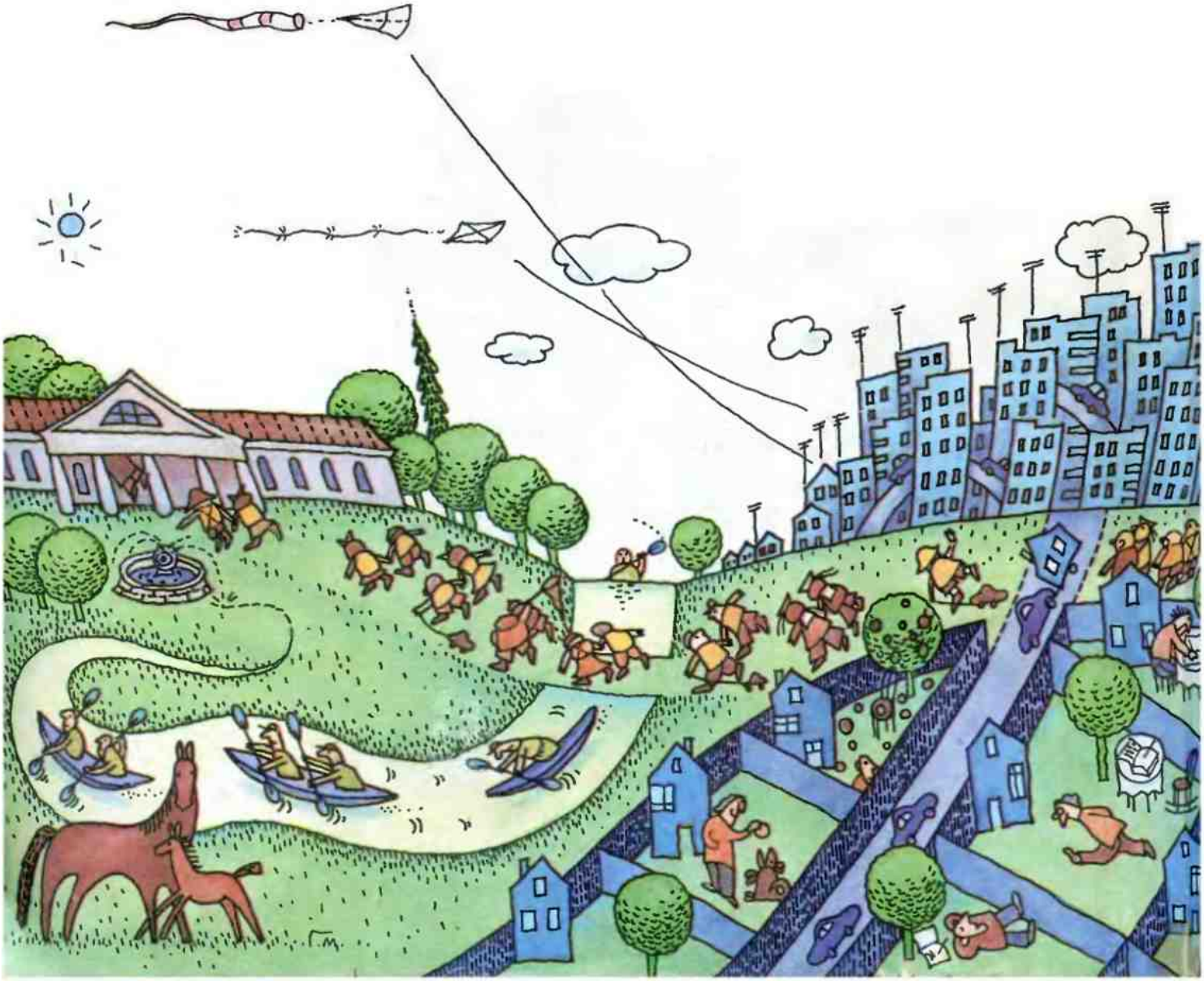
Сдано в набор 24.03.88. Подп. к печ. 14.04.88. А 01984. Формат 84×60¼. Офсетная печать. Усл. печ. л. 11.63. Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2217.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. Правды, 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,



«ДУША ДОРОЖЕ КОВША»

Плакаты
И. ТАРАСОВА (Воронеж),
С. СМИРНОВА (Москва),
А. ИЗМАЙЛОВА (Харьков),
А. ШКЬОПУ (Москва)

Юность. 1988 № 6, 1—96.
Индекс 71120
Цена 70 коп.